



Юлия Остапенко

Лютый остров

«АСТ»

2008

Остапенко Ю. В.

Лютый остров / Ю. В. Остапенко — «АСТ», 2008

Что-то неладно в мире «меча и магии». В Даланае, стране славных воинов, смелых князей и всезнающих волхвов, жители таинственного острова Салхан страдают от древнего проклятия – и не избыть его, покуда не явится на остров таинственный пришелец из иных земель... В гордой Альбигейе, земле рыцарей, клириков и прекрасных дам, всемогущие инквизиторы Бога Кричащего, носящие на груди магическую татуировку – Обличье, заливают страну кровью, посылая на суд и казнь все новых еретиков и ведьм... В славном граде Кремене суровый отец велит юноше взять в жены деву, которую молва ославилась ведьмой, – и молодому супругу приходится поневоле выстаивать в бесконечной борьбе с наводимыми ею чарами... А далеко на Востоке, в пышной и жестокой Фарии, начинается история долгой и неизбывной вражды воина из личной охраны паши и загадочного убийцы – ассасина, – вражды, что прекратится тогда лишь, когда примет смерть один из недругов... Разные то земли. Далекий путь от одной до других. Но Зло – хитрое, многоликое – не знает расстояний, как не знает их и Добро... В сборник вошли повести «Лютый остров», «Лицо во тьме», «Вера ассасина», «Горький мед»

© Остапенко Ю. В., 2008

© АСТ, 2008

Содержание

Лютый остров	5
1	6
2	16
3	28
4	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Юлия Остапенко

Лютый остров (Сборник)

Лютый остров

Памяти Никки (Оли Полуяновой). Я тебя помню и очень люблю.

1

Когда пришли нероды, я был, верно, первым, кто их увидел. Так Горьбог рассудил, что выбрал я то погожее утро для охоты, а если правду сказать, то и не для охоты даже, а так, поразмяться надумал – и понесло меня на Устье холм, туда, где с начала весны я выслеживал тура. А если совсем правду, то и не тура, а туренка малого – скакал, глупый, по скалистому берегу, не знал, что я его дожидаюсь. Один на один против него я идти остерегался и все равно в раж вошел: а ну как одолею! Всю весну я бродил по этим холмам, наставил ловушек и в тот день решил проведать. Не очень-то верилось, что повезет, но с утра, когда сел лук править, мамка разворчалась, что опять дурным делом занят, за плуг бы взялся лучше, – вот я и удрал от нее, чтоб уши не кислела. Влез на Устье холм, где у меня первая ловушка была, – и тогда-то увидел неродовские паруса.

Должно быть, чересчур долго я смотрел на них, приставив ладонь к глазам, – страх как долго, сердце, так и кинувшись вскачь, с дюжину ударов отгрохотать успело. Корил себя за это после, а тогда – ну ни с места двинуться, ноги словно в камень вросли. Потом уж сорвался, кинулся вниз скальной тропкой. А тропка, чтоб ее, хитрая, подниматься по ней – еще туда-сюда, а вниз идти надо бережно, иначе костей не соберешь. Да куда уж мне было себя беречь...

Нероды!

Деревня наша стоит в далекой глуши, укрытая скалами, словно чайкино дитя материнскими крылами. Кто не знает – мимо пройдет, кто знает – замается вилить меж острых порогов, выискивая путь к земле. Потому живем мы и спокойно, и бедно: ни купцы нас не жалуют частыми визитами, ни налетчики. А все ж бывает, что привечаем в гостях – и одних, и других. И знают уже сельчане: если забрезжит на море зеленым – то фарицы, от них можно откупиться. Если сизым с львиными мордами на бортах – галлады, с теми надо полюбезнее, хлебом с молоком встретить, в ноги поклониться – может, примут угощение и так уйдут. Если полыхнет на волнах алым – асторги пожаловали, станут избы жечь, скот забивать, девок портить, так что видели алое – мужики брались за ножи, а бабы хватали детей, добро и бежали кто куда.

Но если появятся под небом черные паруса – тут ни откуп, ни мольба не поможет. Да и бежать бесполезно. Не убежишь, не спрячешься – догонят, найдут, и тогда уж хоть жилы на руках грызи, а живым не дайся.

Нероды.

На моей памяти они только раз к нам приходили. Мамка говорила, я малец совсем был, в подоле еще носила меня. А я помню. Тогда их вовремя завидели, и как услышала она крик по деревне, так бросила прялку, схватила меня и кинулась в лес. Под корягу забила и просидела два дня и две ночи, пока нероды не ушли. Когда мы в деревню вернулись, там почти никого не осталось. А избы стояли не тронутые ни огнем, ни мечом, и выла в бесхозных хлевах недоенная скотина.

Без надобности неродам наш небогатый скарб. Приходят они за людьми.

Что и говорить, резво бежал я с Устьева холма через лес – аж ветер в ушах свистел. А не успел. Неродовские корабли не стали причаливать к берегу – знали уже наши берега. Спустили на воду верткие лодки, и пока я добежал, успели высадиться. Как дозорные наши недоглядели, я так никогда и не узнал. А только увидел, как идут нероды по нашему селу, дюжие, длинноволосые, в среблясто поблескивающих кольчугах. Хозяевами идут.

Не добежав до изб полусотни шагов, рухнул я в кусты, носом к земле, вскинул руку к плечу – и схватил пустоту. Ай, лихо! Лук-то я дома оставил! Треснул он накануне, вот я его и замазал рыбьим клеем, оставил на лавке у избы сушиться, мамке строго наказал не трогать, а она только вслед ругнулась. Мне бы его сейчас! Послал бы хоть по доброй стреле в глаза этим, что идут сейчас по моей земле, будто по собственной – с железом идут...

По деревне уже стоял плач, крик и лязг стали. Мужики выбегали из дворов с топорами, с головнями горящими – да так и падали под ударами, кто мертвый, а кто оглушенный, и их тут же наклонялись вязать. Я увидел Бересту, нашего старосту, бьющегося у ворот своего двора сразу с тремя неродами. Здоров был наш Береста, на медведя в одиночку ходил, – а и тот продержался недолго, повалили старосту под вой жены его, Берестовихи, а дочку уже другой нерод за волосы волок со двора. И всюду кругом нероды кого-то да волокли: вон Ольху с женой и малых Ольховичей, а вот все Каприщево семейство, только старшего сына не видать, неужто зарубили... Я стрельнул взглядом по деревенской улице, ища обходной путь. Наша изба стоит на другом краю села; оттуда, где я в кусте залег, ее было не видать. А ведь в нее, может статься, нероды уже вошли, сапожищами топоча...

Не было времени у меня на раздумья. Да и что тут думать-то?

Мамка меня Маем звала. Она без мужа меня родила; иных девок за такое родичи со двора гнали, да мамке повезло – не осталось у ней родичей, сирота она была, сколько себя помнила. Сельчане ее осудили, конечно, но камнями бить не стали – далече мы от людей живем, держимся друг за дружку, все свои. Знахарка наша, Радома, даже роды у нее приняла – и мамка сказывала, как отдала меня ей на руки, еще пуповину не обрезав, сказала: «Намаешься с ним. Да и ему не жизнь теперь – маята». Мамка знала: правду старуха говорит. Так и назвала – Май.

И верно назвала. Все только горестей ей было от меня. Едва подрос, в лес повадился, на холмы – люди уже шептались, а не от волка ли лесного девка сына прижила? Оно и правда: нравилось мне в лесу, а меж людьми – не очень. Никаким ремеслом меня прельстить было нельзя, кроме охоты. Как достало силенок палку поднимать, выстругал себе рогатину, той же весной выследил кабанье семейство и заколол поросенка. Мамка сперва гордилась, потом тревожилась: почему больше ни к чему желания не имею, не все ж кабанов бить? А мне хорошо было на воле, от сельчан подальше. Не любили они меня – так, терпели милостиво. Пацанва сельская только и ждала повода бока намять, только иначе чем всемером на меня и не шли, знали – раскидаю. Бегали батькам жаловаться, и батьки меня, случалось, ловили и за чуб таскали, чтоб не обижал их чада любимые. Мамка плакала, а я отлеживался и снова в лес уходил, когда на лису, когда на кабаньих поросят. Птицу тоже стрелял, но стрелять мне не нравилось – я люблю, чтоб рогатина под рукой в жаркую плоть вошла, чтобы кровью звериной на руки брызнуло, на лицо...

Глядел я сейчас на неродов, на их щекастые морды, и думал, куда бы это сподручнее рогатиной ткнуть, чтобы на руки брызнуло. Кольчуги на них были уж больно плотные, я никогда и не видал таких – колечко к колечку, от горла аж до колен – как тут подступишься? В глаз целить – отобьет, по ногам – так не насмерть выйдет. А что ударить я смогу только один раз – то я знал. Слишком много их было.

Только пока еще они меня не заметили.

Я прополз кустами на брюхе, рогатина колотила меня по плечу. За нашим домом разрослась бузина, совсем уже на стены вылезла, мамка давно просила, чтоб я пообрезал, – а мне все недосуг было... теперь бы порадовалась. Дверь избы была настежь распахнута, перед нею нерод топтался – всего-то один. Где-то рядом, на соседнем дворе, визжала баба, кто-то шумно бранился. Мамки нигде не было. Я острожно вытянул рогатину, подобрался ближе, так, что меж мной и двором осталась лишь завеса ветвей, приник к самой земле...

И тут увидел.

Лежала мамка моя у порога, руки раскинув – так, что одна в избе, а другая – на сырой земле. Она дышала еще, громко и часто, глядя в небо раскрытыми глазами, и губы шевелились, словно пить просили или шептали одно и то же... На ее груди медленно расплзлось красное пятно – видать, только что ее ударили. Если бы я быстрее бежал...

– Никого нет, – сказал низкий голос, и из хатки нашей ступил человек с багряным от крови мечом в опущенной руке. – За кого порог боронила, женщина? Почто в дом не пускала?

Мамка шевельнулась, будто хотела встать. Повернула голову – и встретилась со мною глазами! И знаю я, все знаю, что было в этих глазах – сиди, мол, сынок, молчи, – да как тут сидеть и молчать?!

– Вот же дура... – молвил человек, то ли мамке моей, то ли своему дружбану, стоявшему подле них во дворе, и это стало последним, что он сказал.

Охота – справное дело, в засаде тихо сидеть приучает. Когда я рванулся из кустов на двор, ни один из неродов даже обернуться не успел. Тот, что мамку мою порубил, носил волосы коротко, так что затылок виднелся под космами; в этот-то затылок, голый и беззащитный, я и всадил со всей силы рогатину – и брызнула на руки горячая неродовская кровь... а дальше плохо помнится. Знаю, кричал что-то, дергал рогатину – а из тела вражьего, валящегося наземь, она почему-то не шла. За черную душу его зацепилась, не иначе. У меня еще нож при себе был, не очень хороший, правда, – я им кожи выделывал, для охоты он не годился. Я его выдернул, когда меня схватил тот второй; хотел всадить, но нерод увернулся, и удар пришелся вскользь по кольчуге, клинок звякнул о звенья. Тут он огрел меня по затылку – так, что у меня искры из глаз брызнули. Но ножа я не выпустил, и нерод вывернул мне руку за спину, будто тщился выдрать ее совсем из плеча. Я вроде бы дрался с ним, но вряд ли долго, и совсем не помню как. Помню только темную от крови рогатину, торчавшую в мертвом теле, и мамкино лицо с неподвижными уже глазами, с губами, застывшими в шепоте... «Май» – вот что она шептала.

Видать, шумно я дрался – сбежались к нам на двор еще нероды, тут драке и пришел конец. Повалили они меня, спутали по рукам и ногам, выволокли за ворота. Я все рвался, даже связанный не давал себя удержать, но под конец прижали меня к земле, тяжелый сапог придавил шею, наступил на ухо, враз приглушив окружающий рев и плач. Потемнело у меня в глазах, и как ни силился я остаться при памяти, а не сумел.

Падая в темень, все думал, что быстрее надо было бежать...

* * *

Не знаю, многих ли посекали тогда – а взяли многих. Когда битва унялась, потащили нероды нас на корабли. Меня бросили в лодку, опять придавили шею, так что я головы поднять не мог – так и лежал, ткнувшись лицом в сырые, солью пропахшие доски и чувствуя дурноту от качки. Нероды, правившие лодками, перекрикивались, но голова у меня все гудела, слов я не разбирал. Рядом со мной кто-то плакал – ребенок или девка, я не мог понять, а посмотреть не давали.

Потом могучие руки подняли меня, передали вперед. Обвязали за пояс веревкой, вверх потащили, а тогда бросили на твердые доски. Я попытался сесть, но меня тут же сбили с ног, может, и не нарочно, – кругом стоял гвалт и суета, крепкие ноги сновали туда-сюда мимо моего лица, нероды волокли и толкали в спины других пленников... и никто из них связан не был, только я. А оно и понятно: боялись, значит. Я оскалился, едва не довольный такой честью, поднял голову – и тут будто обухом меня огрело.

Нероды закончили погрузку добычи и подняли лодки. Пленных сельчан разогнали по палубе и выстроили в два ряда. Дружный плач стоял под черными парусами, ровный и неодолимый, словно морской прибой.

Это все были дети.

– А ну вставай, малец, – раздался голос у меня над головой. Кто-то наклонился и перерезал веревки у меня на ногах. Рук не тронул. Взял за волосы, потянул вверх. Я вскочил, дернул

головой. Лицо передо мной – а если правду сказать, то надо мной, – было бородатым и совсем не злым. Нерод ухмыльнулся и выпустил мои вихры.

– Смирно стой, – наказал он и отошел от меня.

Рядом всхлипывали. Я обернулся. Маленький Дарко, Ольхин сынок, сутулился рядом со мной, глотая слезы. Было ему годков семь от силы, чего бы не пореветь? К нему жались меньшие братья, слишком напуганные, чтоб удариться в плач, – или вовсе не ведали, что творится, а Дарко понимал. Он был достаточно взрослым, чтобы понимать, и слишком мелким еще, чтоб не плакать. Другие мальчишки жались тут же, по левую сторону палубы, шмыгали носами – а девки стояли справа. Их я разглядеть как след не мог, нероды между нами слишком толпились.

Наконец угомонилось. Нероды разошлись, очистили палубу для вожака, под чьей тяжелой поступью уже громыхали доски. Издали видать, что вожак – здоровенный, борода лопатой, на плечах плащ медвежьей шерсти, длинный меч колотит по ноге. Я вдруг вспомнил его: это он Берестовиху, Старостину жену, со двора волок. Да где теперь Берестовиха? А Береста? Неужто всех порубили? Никого из взрослых сельчан я не видел на корабле, только детей.

Вожак прошелся по палубе взад-вперед, глядя по сторонам, не сказать на вид, доволен или не очень. Встал напротив девок. Их взяли шестерых – самой меньшей была Пастрюковна, едва ходить начала, цеплялась теперь за сестрину ногу и глядела по сторонам удивленными глазенками, вроде и совсем не страшно ей, что будет, а только любопытно. Еще четверо девчонок постарше, а последняя...

– Эх-х, – изрек вожак, встав против нее. – Хороша...

Еще в не хороша! Тяжким, ох, тяжким было то злое утро, а в тот миг что-то наново дрогнуло во мне – потому что старшей девкой из схваченных была Счастлива Берестовна, Старостина дочь. Батка Счастливой нарек, надеясь дочке милую судьбу накликасть, – а вон как вышло... Хотя как по мне, лучше в Гордевой ее назвал или Спасивой – больше бы подошло. Была она на два года старше меня и с прошлого лета уже принимала женихов – отбою от них не знала. Красивая девка: коса золотая, брови вразлет, руки белые, серпа и плуга не знавшие – берег Береста дочку, все мечтал за фарийского или галладского купца отдать, вдруг повезет... Она тем мечтам не противилась, знала, что не для черного труда рождена, – и не глядела даже на тех женихов, наших парней, что теперь мертвыми лежали на разоренной земле, кровью ее своей поили, девку неблагодарную защищая. А девка стоит теперь в разодранной рубахе, простоволосая, голову гордо вскинув, и ни слезинки в ясных очах, какими только душу выедать... Плечи мои напряглись будто сами собой, веревки затрещали, кажется – вот-вот лопнут! Не лопнули. А все одно, думал я, глядя в покрытую медвежьей шкурой вожакову спину, только попробуй тронь ее!

Вожак не тронул. Долго смотрел на лицо Счастливино, на золото кос по плечам. Потом повернулся к стоявшему рядом нероду, сказал негромко:

– На «Волнограя» надо, к бабам. Женой будет.

Тут уж вздрогнула Старостина дочь всем белым телом, с лица сошла – хоть и не сказал вожак, кому именно быть ей женой. Да не все ли равно?! Пальцы мои сжались, вцепились в путы... и вдруг поддалась, потянулась веревка! Я аж дыхание задержал. Осторожно стал разматывать, глаза опустив, боясь моргнуть лишний раз. Вожак повернулся от девок, пошел к нам. Пока глядел на мальцов, я шевельнул запястьями, еще опутанными, но теперь лишь для виду. Ну, подойди только!

Пацанят нерод смотрел внимательней, чем девок: тем, кто постарше, мускулы щупал, рты заставлял разевать, зубы считал, словно лошадям. Дарко Ольхович, как до него очередь дошла, заревел в полный голос, и вожак дал ему по уху. Дарко сразу умолк, будто теперь только поняв, что шутки шутить тут не станут, не покапризначайшь. Нерод велел ему рот прикрыть, пока не стало лиха, – и оказался передо мной.

Равнодушное лицо его изменилось, сделалось недовольным.

– Так, – сказал, кинув взгляд через плечо. – А этого почему сюда, почему не к рабам? Кто его взял?

Из толпы неродов, наблюдавших за осмотром, ступил мужик, с которым я дрался во дворе своего дома над теплым еще мамкиным телом. Едва увидал я его, так и заколотилось во мне все, чуть не бросился, а сдержался – до сих пор не знаю как.

– Я его взял, Могута, – подал он голос. – Ты не гляди, что рослый, все одно дитя еще.

– А, Хрум, так с этим дитем ты сцепился на берегу? После того как он Брода рогатиной ткнул? – Голос Могуты звучал сухо и холодно. – Это, что ли, по-твоему – дитя?

– Да глянь на него, ему ж поди пятнадцати нет!

– Гляжу, да лучше спросить. Ну что, щеняра, сколько тебе годков? – обратился он ко мне без всякой злобы, с прежним равнодушием.

Я сцепил зубы. Могута вздохнул.

– Не хочешь отвечать... Зубы покажи-ка.

Я набычился, нарочно показывая ему желваки – хрен тебе, мол! Могута вздохнул снова. Я думал, он даст мне по уху, как Дарко, но он решил не утруждаться – зачем, когда челюсть разомкнуть всегда можно не уговором, так железом. Могута потянулся к поясу и вытащил нож.

Этого-то я и дожидался.

Тряхнул руками – и упали ослабшие путы на дощатый пол. Я прыгнул на Могуту по-звериному, с места, распружинившись в прыжке. Грузный мужик не успел и охнуть, рухнул на палубу, а там я уже выдернул нож у него из кулака – и полоснул бы по жирному горлу, кабы сзади меня не огрели по спине веслом. Боль была такая – словно шипом огненным насквозь прожгло. Но достало мне сил не выпустить оружие, откатиться в сторону и, подобравшись, вскочить спиной к борту. А нож уже зажат в кулаке лезвием вверх и чертит звонкие линии передо мной – ну, подходи, кто смел! Нероды бранились, выхватывали мечи, один достал лук и натягивал тетиву.

– Не стрелять!

Я не мог оглянуться, боясь пропустить новый удар, а знал только, что крик этот, звучный и властный, издал не Могута. Тот едва подобрался с палубы, плащ медвежий сполз набок, и теперь я дивился, с чего это принял его за вожака. Разве такими бывают вожаки? Толстые губы шлепали, глаза глядели осоловело – никак не мог понять и поверить, что его мальчишка какой-то с ног сшиб, еще и на виду у всей его рати! Как дошло, багровой краской залился по самую бороду. Схватился за пояс – а нож-то у меня! Еще сильнее побагровел, кулачищи сжал – и тогда лишь повернулся туда, куда я глянуть не смел. Все туда уже смотрели – и Хрум, огревший меня по спине, и дружбаны его, и детвора, и Счастлива Берестовна – смотрела, побелев лицом, ярко сверкая глазами.

Ну тогда уж и я не утерпел, взглянул.

Корабль неродовский был велик, саженой пятнадцать в длину, всего глазами и не охватить за раз. Потому сперва я не заметил, что на корме как будто сруб деревянный стоит, а в срубе дверь, а за дверью, видать, горница. Из горницы этой и вышел теперь тот, в ком я немедля признал настоящего вожака. В бою его вроде не было – а может, и был, да только я не видел, но отчего-то мне чудилось, что не ступал он сегодня ногой на Устьев берег, не багрил железа в крови моих сельчан. Был он высок и статен, безбород и безус, и лицо у него оказалось хотя и в морщинах, а красивое – девки таких любят. Он один среди всех воинов одет был в черное, с выплавленным серебряным щитом на рубахе – немало, должно быть, весила эта одежда. Сапоги у него доходили до бедер, меч свисал чуть не к самой палубе, а волосы, того же цвета, что и щит на груди, спускались на плечи, ничем не покрытые и не перехваченные. Приди такой на наш двор с миром, пусть и незнамо откуда, – оробели бы сельчане, в ноги поклонились, хлебом с молоком угостили. Но не нужно ему было наше угощение. Даже до битвы с нами не

снизошел, сучара, псов своих послал, чтоб притащили нас к нему на корабль, – а теперь судить будет? Ну его!

Не отвечая ни на один из взглядов, к нему обращенных, шагнул воевода вперед, на палубу, голову нагибая под низко опущенными снастями – тогда-то я заметил, что ходит он неуверенно, на одну ногу припадая. Потом он выпрямился и махнул рукой, веля опустить луки и оружие спрятать.

Тогда посмотрел на меня.

– Что ершишься, малой? – сказал вполголоса. – Не убежать тебе.

И так спокойно сказал, что сердце у меня на миг оборвалось – поверило. А все же сжал я зубы, чтоб тут же расцепить их с усилием и процедить:

– А мне воли не надо. Крови хочу.

– Ах ты, щеняра! – рыкнул Могута, ступая ближе, но серебряный воевода снова ладонь поднял – тот на месте так и замер.

– Чьей? – спросил, слегка прищурясь и только что не улыбаясь, на меня глядя. Взъярило это меня – мочи нету!

– А хоть бы и твоей! – крикнул я. Глуп был, конечно. Пока я с ним пререкался, меня уже десять раз и повалить могли, и вовсе прикончить. Воевода не дал бы, но почему мне тогда было это знать? Может, он просто позабавиться со мной надумал, прежде чем убить.

А тут он улыбнулся еще, и я вовсе про все забыл – так зло взяло. Ну да, ему бы и не смеяться!

– Моей? Почто моей? Разве я тебе сделал что?

– Люди твои порубили и в неволю угнали всех, кого я отродясь знал, – ответил я через силу, едва держась, чтоб не броситься на него. – Или теперь кнежи за своих людей не в ответе?

Он перестал улыбаться. Видать, не понравились ему мои слова. Нероды загалдели, дескать, позволь укоротить язык мальчишке, но он теперь даже руку не поднял, только головой мотнул, и все умолкли.

– Правду говоришь, в ответе, – сказал. – Только я теперь, видишь, ранен, ногу мне давеча подрубили. Станешь драться с таким?

Почто спрашивал?! Снова глумился? Я же знал, умом нет, а нутром знал, что выйди он против меня – одним пальцем спину мне переломит, как соломинку. Но когда он про свою рану сказал, я уже не мог ему вызов бросать – малодушным я бы вышел, не он. Чтоб ему...

– Не стану, – ответил я хмуро, и воевода кивнул, слабо блеснув серыми глазами из-под сведенных бровей.

– Так что прости, но выбирай кого другого.

– Да что ты, господин мой Среблян, с пащенком разговоры ведешь? – не выдержал наконец Могута, все время стоявший в трех шагах от собственного ножа, наставленного ему в рожу. – В оковы его да под палубу, долог ли сказ?!

– Кого выберешь, малой? – будто не слыша, повторил воевода. Среблян, вон как... Шло к нему это имя – неужто таким, в серебре весь, и уродился? Или впрямь Горьбог и судьба-горемычевна подгадывают, как бы имя, человеку данное, в долю его обратить? Коли так, то недолго осталось мне жить-маяться...

Я подбородком указал на сопевшего рядом Могуту:

– Его.

Тот расхохотался. Прочие нероды подхватили, все уже смеялись, кроме устьевской детворы, глядевшей на меня в страхе, – и кроме воеводы Сребляна.

– Почто его? – спросил, прищурясь. – Почто не Хрума? Тебя ведь Хрум полонил? Небось и родню еще порубил.

– Кто родню порубил, тот уже землю кровью своей поит, – ответил я. – А ты сказал выбрать – я и выбрал, так не спрашивай почто.

Взгляд Сребляна обратился на Хрума.

– Правду, что ли, малец говорит? Убил кого нашего?

– Брода, господин мой Среблян, – стащив шапку, пробормотал Хрум. – Рогатиной...

– Рогатиной, – повторил Среблян с удивлением и посмотрел на меня как-то совсем иначе – с головы до ног окинул взглядом, словно к коню на торгу примеривался. – Ну раз рогатиной, то иди против Могуты, малой. Эй, Могута! Нож мой возьми – свой-то ты, вижу, безоружному противнику одолжил. Это мне любо, – усмехнулся он – и, выхватив кинжал, метнул его через палубу. Лезвие вонзилось в мачту у головы Могуты, задрожало. Могута зубы сцепил и выдернул нож, отвернулся от воеводы, не поблагодарив. Сказал с отвращением:

– Говорил я, к рабам паскудника надо, – и кинулся вперед резко и стремительно, будто гадюка из-под колоды.

Я едва успел вбок уйти, так что он полоснул лишь воздух около моей шеи. Я перехватил нож покрепче, рука вдруг взмокла и сделалась скользкой. Прежде я никогда на человека не ходил, а то, что сделал во дворе нашей избы, – так то словно в дымке было, как во сне, как не со мною... Могута снова пырнул, я снова ушел от удара. Нероды стали посмеиваться. Тут во мне кровь вскипела. Чего мне бояться, что терять? Так и так – если не рабство, то лютая смерть... а то хоть продам жизнь свою подороже да честно.

Согнулся я в три погибели да кинулся кубарем Могуте под ноги. Он так и охнул, а палуба затряслась от хохота. Но рано веселились – перекатившись на бок, полоснул я ножом Могуте под коленями, целя по сухожилиям. Лезвие противно заскрипело о дубленую кожу. Чтоб его! Совсем он ножа своего не точит, что ли?! Но что есть, то есть: не порежешь таким, колоть надо. Вскочил я на ноги, развернулся снова спиной к борту, пока Могута поднимался с проклятиями. Эх, будь на нем холщовые штаны, я в уже на груди у него сидел и горло резал! Нероды одобритительно шумели, хлопали в ладоши, подбодряли криками – меня, понял я с удивлением. Не любили, должно быть, Могуту... Даже Хрум что-то кричал – желал победы своему пленнику, видать, славно это было бы для него – такого поймать! На миг захотелось назло ему проиграть, но тут снова ярость верх взяла. Кинулся я на Могуту, целя острием ножа ему в глаза, тот так и шарахнулся – и прямо на девок! На Счастливу Берестовну, что стояла, в борт вжавшись, и глядела на нас во все глаза. Девка пискнула, и тут Могута схватил ее, крутанул, как веретено, – и рванул рубаху на девичьей груди так, что богатство ее тайное, о каком мечталось женихам, глянуло на белый свет, всех ослепив!

Ну не знаю, всех ли... я, правду сказать, так и обомлел. А Могуте того и надо: бросил визжащую девку в сторону, в руки хохочущим дружбанам, шагнул вперед, да и заехал мне промеж глаз чугунным кулачищем. Даже ножом бить не стал.

Нероды хохотали так – я думал, палуба проломится и все на дно пойдём. Даже вязали они меня, хохоча, и не будь их столько – поразбрасывал бы, а так – что уж.

Могута заливался громче всех.

– А все-таки – щеня! – сказал, утирая слезы. – Ошибся я. Верно ты его, Хрум, в чада определил. А ну вставай!

И врезал мне сапогом под дых – я так и согнулся. Встанешь тут, когда руки-ноги связаны! Могута снова мне врезал – и наклонился, чтоб поднять свой нож, который я выронил. А наклонившись, за волосы ухватил, повторил: «Ну щеня!» – и впечатал лицом в доски...

– Довольно. Оставь его. И не трожь.

Голос был теперь куда ближе, чем прежде, – прямо над гудящей моей головой. И он не смеялся. Даже тени смеха в нем не было.

– Отойди от него, Могута. И ты, Хрум.

– Помилуй... – запротестовал было тот, и Среблян спокойно сказал:

– Мой будет.

Сильные воеводины руки ухватили меня за плечи, вздернули на ноги. Я дышал тяжело, лоб мне последним ударом рассекло, кровь заливала лицо. Сквозь нее я и увидел глаза Сребляна – близко увидел и прямо в них посмотрел.

– Как звать тебя? – спросил воевода – и, не дождавшись ответа, добавил будто бы про себя: – А хотя все равно. Зол ты, как я погляжу... Лютом будешь.

Я и придумать не успел, что сказать, – он толкнул меня назад, в руки своих неродов.

– Привяжите-ка его к мачте. Пусть повисит, охолонет, – сказал кнеж и, повернувшись на каблуках и больше на меня не глянув, пошел прочь – мимо других пленников, мимо стягивающей порванную рубаху Счастливы, что так и ела его глазами... Потом вдруг зыркнула на меня – и с такой злобой, будто я был в чем перед ней виноват. Обида во мне поднялась, но тут меня опять потащили, и больше я ее не видел.

* * *

Кроме большой мачты, была на неродовском судне еще одна, наклонная. Тянулась она от носа к воде, и когда судно ходко бежало вперед, волны весело рассекая, тучи соленых брызг дождем сыпались на нее – ну и на меня, после того, как примотали меня к этой мачте тугими ремнями. Висел я наискось, лицом к небу, передо мной была палуба, и если изловчиться, я мог глядеть по сторонам.

По сторонам были корабли.

Тогда с вершины Устьева холма (кто в поверил, что было это нынешним утром!) я увидел только один черный корабль. Теперь я понял, что их было много больше. Под вечер спустился туман, крутобокие черные суда выныривали из него, едва подойдя на расстояние крика, и тут же прятались снова. Я насчитал их шесть, но, может, дважды счел один и тот же, а каких-то не видел – кто знает? Только теперь я понял, где остальные мои сельчане. «Этого к рабам, – сказал Могута давеча, – а та женой будет». Видать, мужчин, женщин и детвору рассадили по разным судам. Зачем только? Или дети – не рабы? Глаз у меня острый, и я изо всех сил вглядывался в другие корабли, пытаюсь рассмотреть кого из сельчан, но туман был чересчур плотен, да и далеко.

Иногда какой-то корабль входил вровень с тем, на котором везли меня, – но ни разу не обгонял, отдавая дань уважения. Я понял: этот корабль был головным, на нем плыл неродовский кнеж, воевода Среблян. А Могута, как уразумел я из болтовни матросов, был на этом корабле командиром. Потому-то он заправлял всем на палубе, потому самолично досматривал пленников – я сейчас понял, все удивились, когда Среблян вышел из каюты и вмешался. Кнеж кнежем, а на судне свой хозяин. То-то Могута взъярился, когда дело к нему задом повернулось! Как ему теперь в узде держать воинов, которые видели, что я его с ног сшиб?

От этих мыслей я едва не ухмылялся, хотя было мне, признаюсь, мало приятности. Даром что близился вечер, а солнце летнее палило жестоко. Нероды то и дело отирали лбы, поливали водой из ковшей разгоряченные головы. Почти все рубахи снимали, а я не мог. Я даже пот не мог отереть, потоком ливший у меня по спине, – вся одежда им пропиталась, прилипла к телу. Ветер под вечер совсем улегся, корабль шел тихо, и даже соленые капли из-за борта уже не долетали до меня, не освежали, не облегчали муку. Я то и дело облизывал губы, да солоно было на губах. Хорошо хоть кровь из ссадины на лбу уже не текла, слепить меня перестала.

– Что, жарковато?

Я повернул одеревеневшую шею. Воевода Среблян стоял рядом, глядя не на меня, а на море. Одну руку упирал в бок, в другой держал открытую фляжку. Я так и дернулся – аж мачта закрипела! И стыдно, а поделать ничего с собой не смог. В горло будто ржавые крючья вцепились. Среблян посмотрел на меня. Протянул флягу к самым губам:

– Пей.

И снова меня словно насквозь шипом проткнуло. Из рук его вражьи подачку принимать? Может, еще и сапоги лизать, визжа по-щенячьи? Вспомнилось, как Могута меня величал – щеня... С трудом заставил я пересохшие губы сжаться, отвернулся. Ничего, снасмешничает сейчас и уйдет. А я что... ночь скоро, похолодает, полегче станет, дотерплю...

– Вижу, не только ты злой, но и гордый, – сказал кнеж – и довольно-то как сказал, будто я ему польстил чем-то! – Вот только глупым быть не надо. Пей, говорю.

А, чтоб ему... повернул я голову, вытянул шею. Припала к губам прохладная глина, полилась в горло вода, вкусней которой я в жизни не пил. Среблян фляги не отнимал, ждал, пока вдоволь напьюсь и первый голову отстраню. Тогда только руку убрал. Я сглотнул, жалея, что не могу губы утереть. Мелькнуло – не поблагодарить ли. Гордо так, надменно, будто слугу какого. Потом промолчал. К чему твякать привязанной шавке? Вот с привязи спустят – так сразу кусну, без лишнего лая.

И сам не знаю, почему спросил:

– Кто на других кораблях?

Среблян смотрел на море. Его вроде бы не удивил и не позабавил мой вопрос. Неторопливо сунул флягу за пояс и ответил:

– Не о том думаешь, о чем надобно, малой.

– А ты мне не указ – о чем думать! – огрызнулся я. – И хватит меня малым величать! Я-то думал, ты меня Лютом назвал?

Он глянул на меня – и расхохотался.

– И верно! Вижу, что не ошибся тебе с именем. Ладно, Лют. Думай о чем пожелаешь, я тебе тут и впрямь не указ. Да только ответа не требуй.

Я прикусил губу. И чего ему от меня надо? Шел бы себе... Знает ведь, что все равно буду спрашивать.

– Скажи хоть, что с детворой сделал.

Детских голосов и плача я уже несколько часов не слышал. Когда меня потащили привязывать к мачте, их погнали куда-то вниз. И сердце мне щемило за них, особенно за малыша Дарко и гордую Счастливу...

– Что, – сказал кнеж, помолчав, – думаешь, раз ты старший, значит, теперь в ответе за них?

Тут я растерялся. Прямо такого я не думал, но теперь, когда он сказал, – призадумался. Выходило, что так. Не знаю, жив ли Береста и другие отцы, а только на этом корабле из устьевцев я и впрямь – старший. Хотя толку ли с меня, пока тут вишу? А и снимут – что дальше?

– Не тронь их, – сказал я вслух: только это и придумалось сказать. – Если тронешь, я... я помирать стану, а тебя с собой заберу.

Не ответил ничего на это Среблян, даже смеяться не стал. Только снова поглядел пристально и как будто довольно.

– Хорошо ты тогда сказал, – заметил вдруг не к слову. – Что кнеж ответ должен держать за своих людей. Я не кнеж, но в твоём народе таких, как я, действительно зовут кнежами. И я знаю, что мой человек убил твою мать. Когда станешь готовым к схватке со мной, я не буду отказываться.

Будь на месте Сребляна Могута, я бы точно решил, что глумится. Но этот... даром что в плен забрал и к мачте велел привязать – а не убил, позволил драться с Могутой и напоил вот теперь...

Потому я сказал только:

– Хорошо.

И Среблян улыбнулся вдруг, светло и радостно почти. Ветер налетел, взметнул его белые волосы.

– А за младших своих не бойся, Лют. Зла от нас никому из них не будет, слово тебе даю.

– И за Счастливу даешь? – не удержался я.

Он поднял брови.

– Счастлива? Кто это? – И тут же понял кто, по тому, как я покраснел. Но смеяться опять не стал, кивнул серьезно: – И за нее.

Не то чтоб мне очень в его обещания верилось – а только с чего бы ему мне врать? Или, может, у него понятия о зле были не схожи с моими?

– Лукавишь ты, кнеж, – сказал я, отворачиваясь. – В рабстве ничего, кроме зла, нету.

– Нету, – согласился он. – Только с чего ты взял, Лют, что я вас в рабство везу? Рабы – они вон там.

Он повернулся, выбросил руку вперед, и я вдруг увидел, как велика она, как крепка. Вспомнилось, как он схватил меня за плечи и поставил на ноги. И еще как сказал, что ранен и оттого остерегается со мной биться. Глумился все-таки...

Я проследил взглядом направление, которое он указывал, и увидел крутобокий корабль с черным парусом, вынырнувший из тумана совсем неподалеку от нас – так близко, что я смог разглядеть людей, спящих по палубе. На миг почудилось – мелькнула среди них огнегрявая голова Ольхи, отца Дарко и малышей...

И вдруг стало мне страшно. Вот взаправду грудь словно железом сдавило – и не выдохнуть, и не вдохнуть, только сердце колотится о ребра так, будто на волю рвется.

Кто они – нероды эти?

Среблян в последний раз посмотрел на меня, опустил руку и молча ушел.

* * *

С мачты меня сняли к полуночи. Развязали, дали полежать чуток на палубе, принесли поесть и попить. Я так ослаб за день, что драться уже не мог. Вспомнив слова Сребляна («Горд будь, да не глуп»), поел – силы по-любому не повредят. Едва закончил и стал вставать, схватили меня снова и опять потащили – на сей раз вниз, под палубу. Было там несколько запертых трюмов, из которых доносился шепот и плач. Я рванулся туда, но мне не позволили, проволокли мимо, бросили в тесную каморку, где встать нельзя, чтоб не треснуться макушкой о потолок. Пол был кривой, уходивший вниз углом. Туда-то меня и кинули, а после заковали в цепи, вделанные в стены. Окошек в каморке не было, щели меж досками оказались накрепко засмолены, так что я и не знал, день стоит или ночь. Изредка ко мне приходил матрос, приносил воды и прогорклой каши, отдавал все и уходил. Корабль качался на волнах, когда лениво, когда бешено, а я сидел в темноте один, изнывая от безделья, тревоги и дурноты. Иногда прикладывал ухо к дощатой стенке, но ничего не слышал. Тут-то и вспомнилось, как у нас сказывали: попался неродам – так вены грызи. Да только как грызть, когда они суровым железом схвачены?.. А если правду сказать – страх брал. Не знаю, сколько дней так прошло, я им счет потерял, да и как тут считать?

А потом судно встало, нероды спустились вниз, сняли с меня оковы и вывели наверх, и тогда увидел я остров Салхан.

2

Салхан по-нашенски означает «Черная гора». Слыхали мы про нее, гору эту, от фарийских купцов, ладных сказки сказывать: стоит, дескать, посреди северного моря гора, от дна морского до самых небес, и черна она так, что солнечный свет затемняет, а темная ночь рядом с нею ясным днем кажется. И кругом горы этой – семь пядей плодородной земли и семь пядей ровной, и стоит там Салхан-град, обиталище неродов, а кругом – все одни суровые скалы, непроходимые, ни травиночки на них, ни кустика, и даже гадам подколодным там житья нет. А под Черной горой, сказывали, лежат клады несметные, приходи – бери, оттого нет к северу от земли Бертанской места богаче Салхан-острова.

Ну что сказать – ввали, конечно. Хотя и не во всем.

Гора и впрямь стояла, да не столь уж она была высока и черна – гранит как гранит. Берег был вроде и неприступен, а все ж далеко ему до наших устьевских порогов. Плодородной земли и впрямь мало – с моря было видать узенькую полоску полей, колосющихся пшеницей. А вот от Салхан-града, как увидел я его еще с палубы, и впрямь дыхание перехватило – тянулся он, казалось, по всему берегу и еще дальше в глубь острова уходил, и ни конца ему не виднелось, ни края! Пристань у берега была велика, камнем вымощена, грозной островерхой башней венчана – никто не подойдет к Салхану незамеченным, никому с него незамеченным не уйти.

Оно, может, было и не так страшно, как фарийцы баяли, а все одно как вошел корабль неродовский в гавань – меня холодом обдало. И чудилось, будто холод этот идет не из нутра моего, а извне, от черных этих камней, от каменных стен.

Нероды спустили на воду лодки и погребли к берегу. Я видел теперь, что не ошибся давеча, верно сосчитал: кораблей было шесть, и, вшестером стоя на якоре, не толклись они в гавани – вот как велика она была. Я посмотрел на берег, чувствуя разом и облегчение, и тревогу. Радо было думать, что перестанет меня наконец качать, кончится дурнота, ступлю на твердую землю. Только вот не лучше ли согнуться, чем ходить по такой земле?

А неродовские домашние тем временем высыпали из-за стены на пристань, так и пестрела она от их затейливых одеж. Ярko они одевались, богато – тут не соврали фарийцы. И почто им набегамы промышлять, если у них под Черной горой клады несметные?.. Я заметил, что на берегу все больше бабы были, хотя и мужики попадались, и смотрели жадно, пристально, не терпелось, видать, им добычу оценить да пощупать. Меня везли в той же лодке, где ехал Среблян; встал он, руку поднял – и зашелся берег радостным криком. Ну да, им бы еще – и не радоваться...

Причалили. Стали сгружать наворованное – и оказалось, что главной добычей неродов было в тот раз не добро, а пленники. Пять кораблей из шести были ими заполнены. На двух мужики, на одном – бабы, и еще на двух – детвора. Тут-то я понял, что не только на наше селение нероды налетели – полно они похватили люда, видать, весь Даланайский берег прошли с юга на север. И, как прежде на кораблях, снова нас стали делить: детей в одну сторону, баб в другую, мужиков в третью. Да только теперь они друг друга видели, и что тут началось! Матери выглядывали детей, мужья – жен, дети – батьку с мамкой. Как узнавали – ну подымался крик! Весь берег стоном исходил, будто ныла сама земля. Ох тяжело это было... Рядом со мной опять малые Ольховичи оказались, только Дарко не хныкал больше, зато двое его меньших ревели в голос, а он крепко их к себе прижимал, и глаза у него совсем другие стали. Я невольно поглядел туда, где сгрудились взрослые, надеясь снова увидеть рыжую голову Ольхи, но не увидел. Как знать, пережил ли дорогу Дарков батька... небось с ними не так церемонились, как с нами, меньшими.

Пока разбирали пленников и выгружали из оставшихся лодок добро, неродовские домашние стояли тихо, в сторонке; неродовские мужики на наших баб поглядывали, а неро-

довские бабы – на детвору. Одна на меня пальцем показала и что-то тихо сказала мужу, что рядом с нею стоял. Тот нахмурился. Дивились небось, что я в путах. Ну да, как на берег меня потащили, так снова связали – не дураки, чай. Был бы свободен, передал бы паскуд. Несть сил было смотреть, как толкают они наших девок, как мужиков кнутами стегают...

Среблян самолично следил за тем, как пленников распределяли. Подошел к бабам, посмотрел. Двух вытащил из толпы, девчонок еще совсем, до красноты зареванных, – толкнул к детям. Могучие неродовские руки их поймали, поставили к нам – без грубости. А Счастливу, напротив, к женщинам отвели. Она не противилась, плеч не сутулила, спокойно пошла. Среблян на нее и не взглянул. Я поискал среди баб Берестовиху, мать Счастливой, – не нашел. Не донесли или еще в самом Устье зарубили...

Тут к Среблянну подошел Могута, что-то ему сказал, тот ответил. Мне почудилось, он на меня поглядел, хотя ни слова он мне не молвил с того самого дня, как я по его указу на мачте висел.

Почитай, немало часов прошло на том берегу – а может, меньше, я как в тумане был. Мужиков всех забили в колодки и погнали – не к городу, а прочь от него, по узкой тропе. С ними ехали несколько конников, появившихся из-за ворот. Баб погнали в город. И тут я увидел, как Могута на меня концом кнута указывает, да рожу еще так кривит брезгливо. Взяли меня, повели к воротам следом за бабами. Я обернулся было на детвору – дали мне подзатыльник, велели под ноги смотреть. Когда мимо Могуты проходил, увидел, как он ухмыльнулся. И услышал:

– Везучий ты, щеня! По мне бы – так все же к рабам!

Я не ответил ему. Что теперь отвечать? Рано. Вот погоди, руки не будут связаны – там потолкуем.

Подошли к воротам – и опять меня страх взял. Велики они все же были, больше, чем с берега казалось. Железом обитые, да и стена вокруг – каменная, гладкая, ногтем не зацепишься, от заставных башен до самых скал, что поясом огибали Салхан. А как прошли ворота – так и вовсе меня оторопь взяла. Все дома кругом были каменные! И кругом – серебро: на шпилях башенных, на ставнях, на колодезном вороте, только что не на телегах! Блестело серебро это в полуденном солнце, скупно блестело, холодно, недобро, и будто мороком от этого блеска веяло. И велико было то поселение! Люди толклись на улицах, при виде нас расступались, глазили – и с любопытством, а еще и с чем-то поболее, чем досужее любопытство. Шептались, пальцами тыкали, мужики жадными взглядами провожали полоненных баб. Я уже понял, куда нас ввели: прямой, как стрела, улицей вверх, к белокаменному дому далече впереди, над которым черной громадой высилась Салхан-гора.

Белокаменный дом был, верно, кнежими палатами. Баб туда не повели, завернули куда-то на полдороге. Я обернулся, и мне снова наподдали по затылку – шагай, мол.

На кнежем дворе было как будто еще свое маленькое село – домишки помельче, чем в городе, хотя тоже каменные, и люд там толпился еще теснее – видать, хозяина ждали. Среблян ехал впереди, и когда меня завели во двор, гвалт там стоял уже до самых небес. На воеводе с обеих сторон висели две бабы, в кольчугу лица уткнув, – ревели, что ли. Я не стал смотреть – что они мне? Да и не дали мне засматриваться – повели дальше, мимо кнежих палат к высокой башне. Как зашли вовнутрь – снова холодом на меня повеяло, еще пуще, чем на берегу. Ох и вымораживали же эти каменные стены – да только ли оттого, что каменные?.. Чувал я тут что-то нелюдское, недоброе, и как думал об этом – так и вставала в памяти Салхан-гора и черная тень ее, лежащая на сизой морской воде...

Открыли передо мною тяжелую дверь, толкнули в спину в последний раз. Я оказался в горнице, больше и краше какой в жизни не видел. Стены белые, пол соломой мягко выстлан, а посреди – кровать! Не лавка, одеялом покрытая, а всамделишная кровать, шире лавки раза в три, – я такую только в доме старосты нашего видел, Счастлива Берестовна на ней спала.

У всех прочих избы слишком тесные были, чтобы их так заставлять. Скамья в горнице тоже имела, стояла у стены, а при ней – лучина. Всем хороша горница, а по сердцу мне все одно не пришлось. Потому как окошко в ней было крохотное, да и то – забранное частой решеткой.

Развязали меня наконец. Я только вздохнул – а рано: вошел тут в горницу мужик здоровый, хмурый. Руки, говорит, давай. Я как увидел, что он принес, – ощерился, ну да им-то что, их четверо было... Надели на меня снова оковы, да не такие, как прежде, – тонкие, просторные, так, чтоб руки-ноги не натирало, и цепи были подлиннее, чем у тех кандалов, в которых я сидел на корабле. Я так и ходить мог, только медленно, малым шагом, и руками двигать. Только драться и бегать не смог бы.

Когда увидели они, что я все понял, ушли, слова не сказав. Еды принесли – свежего мяса, горячей каши, пива в кувшине. И оставили, и дверь заперли.

Я прошелся по горнице. Руки в кулаки сжимал, напрягая со всех сил, дергал – впустую. Потом сел на кровать, на мягкую перину – никогда я и не гадал, что может быть что-то такое мягкое! Сел, посидел. Было мгновение, испугался – никак зареву сейчас. А потом подумал: вон Дарко Ольхович, и тот не ревел на берегу. А мне, парню здоровому, что?

Цепь-то эта на руках у меня – она хоть и коротка, а все ж хватит ее, чтоб обмотать вокруг горла первому, кто ступит на порог.

* * *

Первые дни мне было не скучно коротать. Я подтянул скамью к дальней стене, влез на нее с ногами и встал у окна, взявшись за прутья решетки. Она хоть и частая оказалась – кулак не просунешь, – но виднелось через нее много чего. Я и смотрел.

Окно выходило на двор, из него видать было белокаменные палаты и четыре постройки черного люда, что жили при кнежем дворе. По первому взгляду люди они были как люди, ходили себе по делам, то скот на выпас гнали, то скарб с телеги сгружали, то молот кузнечный звенел (ох, не люб же мне стал этот звон с той поры!), то пила столярская визжала, то круг гончарный шуршал. Куры по двору бегали, кудахтали, свиньи в лужах плескались, овцы блеяли – село как село. А только что-то тут было не так. Я только на другой день понял что.

Смеха и крика детского я совсем не слышал.

Нет, были тут дети. Хотя и мало совсем – то ли дело у нас в Устье, где на каждый двор по пять галдящих глоток! А тут на десяток взрослых добро если одно дитя придется. И невеселы были эти дети. Ходили, глаза долу опустив, говорили тихо, работали споро, а не играли почти. Суровы, что ли, батьки с ними были, батогами угощали чаще, чем пряниками? А и не скажешь: то и дело я видел, как мамка дитя по головке гладит, как батька ласковое слово молвит... а дитя будто и не радо. Что за дела? И любопытство меня брало, и не по себе от такого делалось. Коли дети смех позабыли, какое ж тут счастье?

Дней пять прошло, когда я увидел малую Пастрюковну.

Она смеялась. Бежала по двору и заливалась беспричинным детским хохотом, от которого всякому на сердце радостней делается. Потом вдруг запнулась на ровном месте, упала – и в рев. Подбежала к ней какая-то женщина – и, на что угодно закладусь, вовсе не была то Пастрюховиха. Подбежала, схватила дитячко и ну целовать, уговаривать, пальцами вертеть, отвлекая. Малышка успокоилась, заулыбалась снова. Ручонки потянула – будто к мамке родной! Быстро забыла... а и что ей, она ж и говорить-то еще не умела, не понимала ничего. Женщина взяла ее на руки, понесла прочь. Глядел я на них, и внутри у меня будто узлы вязали. Что ж тут делается?

Было в кого спросить...

Дни шли за днями – а не приходил никто ко мне. Не на кого было цепь накинуть, придушить – да хоть так пар выпустить. Кормили меня исправно, отворяя внизу двери заслонку

и просовывая через нее миску и кувшин. Хорошо кормили – я отродясь так не едал. Будто задобрить хотели меня – а для чего, почему мне было тогда знать?

Вскоре я истомился. На корабле еще маялся, не привык сидеть так долго без движения и без дела, – а тут то же самое! Когда на исходе восьмого дня заскрипел засов на двери – я аж обрадовался. Засомневался даже, стоит ли теперь нападать – может, лучше словом перемолвиться... но одернул себя: ну еще выдумал! С изуверами этими болтать – о чем? Кинулся я к двери, быстро, как молния, а оковы мои и не звякнули – долго я тренировался, чтоб так суметь. Перехватил цепь двумя руками, большими пальцами подцепил, в кулаках сжал. Ну, только войди...

Отворилась дверь, и вошел Среблян.

Я замер на один только миг – но и мига ему хватило. Не знаю, то ли выдохнул я и он услышал, то ли просто чутьем обладал звериным – а обернулся и вскинул руку перед лицом так, что напоролась на нее моя цепь, метившая ему по горлу. Среблян резко опустил руку, ухватился за эту цепь и швырнул меня о стену – только колокольный перезвон в голове бухнул! Ну, подумалось мне, пока переводил я дух, теперь-то убьет. Понял уже, чай, что как меня ни стреноживай – а не уймусь. И чего только хочет?

Сквозь перезвон в голове я услышал шаги. Поднял голову – и увидел над собой две расставленные ноги в высоких сапогах.

– Молодец, – похвалил меня кнеж. – Едва не достал. Только больше так не делай, а то к стене велю приковать.

– Вели, – прохрипел я. – Я еще чего выдумаю, все одно развлечение.

Улыбнулся он краем рта, взял меня за плечо, вздернул на ноги. Я пошатнулся. Он пустил меня и, сделав три шага, сел на скамью. Я заметил, что он уже куда меньше хромает, чем прежде, – видать, хорошо заживала рана.

– Сядь, – сказал. – Поговорить с тобой хочу.

– Постою, – отрезал я, а у самого внутри так и вздрогнуло. Все одно, враг, не враг – должен же я знать, что тут происходит! Глядишь, и пойму, как выбраться...

Кнеж приказа не повторил, помолчал. Потом спросил:

– Знаешь ты что-нибудь о нас?

– О неродах, что ли? Как не знать. Носитесь по морям, хватаете добрых людей, волочете за тридевять земель, и никто их после живыми не видит. Так?

– Так, – проговорил кнеж. – Еще что?

Невозмутимость его меня малость смутила. Но я ответил, как и раньше, с вызовом:

– А еще у вас под Салхан-горой клады несметные, золото да камень, вот и отгрохали себе такую крепость и корабли оснастили... Все-то у вас есть, все купить можете, а вам мало!

– Кое-чего за деньги не купишь, – сказал воевода. – А в остальном верно, только не золото под Салхан-горой, а серебро. Серебряные копи. Знаешь, что такое копи?

Я кивнул – больше своим мыслям, чем его словам. Так вот куда пленных мужиков повели... на копи. Станут теперь до веку скалу рубить, мертвый камень живой кровью поливать. А что – не самим же неродам на руднике горбатиться, когда всегда невольников наворовать можно.

– Раньше Салхан назывался Салрадумом – Серебряной Горой, – продолжал воевода. – Давно это было. Гора тогда была не черной, а белой, ровно целиком отлитой из серебра. Прямо на поверхности залежи были – наклоняйся да поднимай! Тогда-то далганты и пришли сюда – они нашли этот остров и выстроили город...

– Далганты?

– Мы так себя зовем. Вы нас зовете неродами.

Отчего-то мне не по себе стало, будто он меня пристыдил. Потому я смолчал, не зная, что на это сказать, а он дальше стал говорить:

– Много веков не было народа богаче далгантов, не было города богаче Салрадум-града. Со всего мира купцы плыли к нам, лучшие товары и дивные дива продавали за наше серебро, чище какого не было на всем белом свете. Родовались далганты, богов своих восхваляли... ты, Лют, в каких веруешь богов?

Он так вдруг об этом спросил, что я от неожиданности сразу ответил:

– В Горьбога и в Радо-матерь, в кого же еще.

Кнеж кивнул, будто тоже своим мыслям, а не моим словам.

– Как и далганты, только зовем мы их иначе – Молог и Гилас. А знаешь ты, Лют, что у Горьбога и Радо-матери было десять детей?

– Тьфу на тебя! – выкрикнул я возмущенно и сделал пальцами знак-оберег – что за бесовщина?! – Да как это Светлая Матерь могла с Черноголовым лечь? Думай, что говоришь!

– А было, – сказал Среблян, словно и не слыша меня, – десять детей у них, все между собой близнецы. Пятеро добрые, материны дети, а пятеро злые, отцовы чада. Одну злую богиню-дочь звать по-бертански Яноной, а по-нашему будет – Янь-Горыня. Горыня – потому что в горе она живет. В этой самой горе.

И холодом на меня от его слов повеяло. Вот если в не холод этот – уши в заткнул и не слушал, а так понял: правду говорит кнеж. Водится тут, на Салхане, лють какая-то – я ее сразу почувял, еще на берег не ступив.

– Только о том, что она тут живет, далганты не знали. Спала она долго, а стук наших молотов ее разбудил, и озлилась она. Куда, говорит, добро мое выгребать? Пришли незваны, выкупа кровью не дали. Любит она кровь, да только кто же знал-то... Знали бы – напоили бы. Да поздно уж было. Осерчала Янь-Горыня. Вы, сказала, у меня украли – так и я вас обкраду. Не будет, сказала, вовек потомства у всякого, кто ступит ногою на твердь, где покоится ложе мое, – на остров Салрадум. А если уплывет он и ступит на большую землю, то лишь три ночи проживет, а потом умрет жестокою смертью. А чтоб не жаловались на мою злобу да свою незавидную долю, сказала, никто из вас не сможет обо всем том ни словечка промолвить иначе, чем на этой земле. Кинула в нас Янь-Горыня это проклятие и ушла в свою гору. Почернела в тот же час гора, изошла пеплом, и под этим пеплом скрылся Салрадум-град. Земля разверзлась и поглотила его, сгинул, словно и не стоял никогда.

Кнеж умолк. Он так говорил, будто сам видел все это, будто глядел в лицо Янь-Горыне, когда она изрекала свое проклятие. Никак хотел, чтобы я его пожалел теперь? Дудки!

– Смелы вы, далганты, если гнева божьего не испугались, – сказал я насмешливо.

– Почему же не испугались? – отозвался кнеж. – Поседали все со страху. Многие похватили скарб, что сумели спасти, кинулись в уцелевшие лодки, прочь от проклятой земли. Добрались до берега, хотели с людьми горем поделиться... А кто открыл рот для рассказа – тут же падал замертво. Прочие, кто молчал, прожили три дня и три ночи, и тогда погибли все страшной смертью. Некоторые, кто с ними сперва кинулся, а в пути одумался, все это время на якоре у берегов простояли – они видели. Потом-то поняли, что она их с острова отпустила для того лишь, чтобы убедились в крепости ее слова. Сами убедились и другим рассказали, когда вернутся.

Умолк он, словно задумался. Да, невесело... Я спросил:

– Что ж делать стали?

– А что делать? Жить всем охота. Построили новый город – Салханом теперь назвали, Черным то есть, и остров стал Салхан. Серебро-то в горе не перевелось, только вглубь ушло. Нашлись отчаянные, полезли за ним – решили, что хуже богиня уже не накажет. Правы оказались. На всяк случай из первых ста пудов серебра, что вынули из земли, поставили ей на скале изваяние – вдруг польстится, смилостивится. Может, и так – больше помех не чинила. Принялись торговать, как прежде... а только когда стали умирать чужие купцы, возвратясь после того, как ступили на нашу землю, – захирела торговля. Повадились мы тогда сами в море выходить,

торговать с кораблей, но все равно – пошла о нас дурная слава, стали люди проклятым называть наше серебро, плевали в него и в нас... И хоть не знали точно о нашей горе, а догадались про что-то – и вот *неродами* прозвали, не способными родить. Стоял тогда над нами воевода – его Гневом потом нарекли, и от него каждый далгантский господин зовется теперь Гневичем... Так вот Гнев сильно на то осерчал. Сам он мальцом был, когда Янь-Горыня навет сотворила, за собой вины не признавал. Не хотят, сказал, с нами по-людски – а и мы не будем. И пошел на материк с мечом... Тогда уже дети перестали рождаться у нас. Старики умирали, избы пустели – стало ясно, скоро совсем конец далгантам. Вот Гнев и порешил: брать на материке пленников и к нам привозить. Мужиков – на рудник, серебро копать. Баб – в теплые постели. А малых деток – нам в сыновья, подрастут – сами далгантами станут...

– Это что же, – выговорил я наконец, – ты, кнеж, и впрямь думаешь, что можно забыть, как вы матерей наших рубили, отцов в колодки сажали, сестер за волосы волокли? Вот попросту взять – и забыть?!

Среблян не ответил мне. Только посмотрел, устало так, равнодушно почти. Что, мол, тебе объяснять...

– А что, Лют, – спросил вдруг, – не надоело тебе на цепи сидеть?

И хоть сильно я озлился на него за этот рассказ, за ненужную мне его откровенность – а дыхание затаил. Ну, как тут ответишь: «Нет, не надоело!» Горд будь, да не глуп...

Вот только что за волю попросит?

– Идем, – сказал кнеж, вставая и беря меня за плечо. – Только вздумаешь снова куролесить – обратно кину.

Вывел он меня на двор. Медленно шел – я так и не понял, от того ли, что приноравливался к моему шагу (со скованными ногами не больно побегаешь!), или от того, что собственная рана его еще беспокоила. Стражники ему по пути поклоны били, меня провожали долгими взглядами. Прошли мы двором за палаты, на подворье, где стояли вкопанные в песок чучела и висели щиты, истыканные стрелами. На том подворье дюжина крепких парней дралась – кто на палках, кто на мечях. При виде кнежа остановились, расступились, примолкнув. Кнеж вывел меня на середину подворья, вынул из-за пояса ключ – и снял с меня оковы. Пока я потирал изодранные запястья, попросил у кого-то меч. Ему дали – и он протянул его мне.

– Держи, – сказал Среблян. – Сумеешь меня оцарапать – отпущу.

Он, видать, ждал ответа или еще чего – а только я, ни слова не сказав, на него тут же кинулся, с места, как делал всегда. Будь на его месте кто другой, да хотя бы Могута, – не успел бы отскочить! А воевода успел. Я даже глазом не уловил, как это он ушел от моего меча: только что стоял, а тут уже и нет, и через миг – за спиной очутился, кольнул легонько между лопаток, будто шутя. Хотел бы – голову бы мне снес, я бы и не понял, что случилось... Вот где меня ярость и вправду взяла. Уже и не помню, как бился – со мной и прежде, и опосля часто такое бывало: голову словно туманом окутывает, и вроде делал что, а что – не знаю... Драться-то меня никто никогда не учил. Все учителя были – кабаны да малые турята, и те за науку брали кровью – все тело у меня в шрамах от звериных когтей и клыков. И мне от них не столько мясо и шкуры были нужны, сколько эта наука. Да только понял я теперь, что драться со зверем – это вовсе не то, что с человеком. Дюжину раз воевода Среблян сшибал меня мечом плашмя наземь, по ногам лупил, по спине, когда и по затылку, так что маки расцветали в глазах, – дюжину раз мог убить. А я до него ни разу не дотянулся даже. Правда, меч я в руке впервые держал, прежде только лук и рогатину...

Ну, словом, что тут сказывать – отколошматил меня кнеж по первое дело. Парни, которые на это смотрели, смеялись, когда я падал. А неужто, мелькнула шальная мысль, их тоже вот так, как меня, в оковах волокли на этот двор? И неужто я вот так же буду когда-нибудь смеяться, глядя, как нового пленника воевода уму-разуму учит, усмиряет? Ну нет! Назвал ты меня Лютом, кнеж, сам сказал, что с именем угадал, – так не дивись теперь!

– Добро, – сказал Среблян, отступая и опуская меч. – Довольно покамест.

– Что так? – спросил я, тяжело дыша, хотя еле держался на ногах – уж и не знаю, долго ли мы дрались, а мне казалось, что целый день. – Я не устал.

– Зато я устал, – сказал Среблян, и молодые воины засмеялись – знали, видать, что врет. Второй раз уж он уходил от схватки со мной, делая вид, будто сам того хочет – то рана его гнобила, то вот устал... Во что играешь со мною, кнеж? Думаешь, оценю? Другого дурака поищи.

– Солнце еще высоко, рано ты что-то устал, – сказал я с вызовом, и молодцы примолкли. Не в обычае у них было, видать, чтоб воеводе дерзили. А мне что, я ему не дружинник и не слуга! Среблян посмотрел на меня с нарочитой серьезностью. Потом сказал кротко:

– Сжался.

Парни так и покатались со смеху! А я стоял, все на свете проклиная, и чувствовал, что у меня даже уши горят. Ну, держите меня семеро, шестеро не удержат!..

– Ладно, будет тебе, – сказал Среблян, когда я уже был готов на него кинуться, – примириительно и негромко сказал, так, словно одному только мне. – Ты славно дрался, хотя и не умеешь этого делать. Вижу, охоч ты до крови...

– Не я, кнеж, меч твой охоч, сам руку жжет, – ответил я зло.

Среблян улыбнулся.

– Руку жжет? Ишь какой... Хозяину под стать. Прожором его, что ли, назови, – сказал он и кивнул своим парням на мои оковы, валявшиеся поодаль, – надеть, мол. Я бороться не стал – понял вдруг, до чего измучился, теперь меня бы любой из них скрутил без труда, а позориться лишний раз не хотелось, пусть бы и перед неродами.

Воевода смотрел на меня, щурясь против солнца.

– Уж не серчай, они тебя сами проводят, я и впрямь притомился, – сказал он, когда меня подвели к нему. И вложил мне в руку тот самый меч, которым я дрался против него, – я и не заметил, как он его поднял. – Да меча своего впредь наземь не бросай. Не по чести это.

Так вот меня и увели с подворья – скованного и с мечом в руке. А я шел, едва переступая враз отяжелевшими ногами, и все уразуметь не мог, неужто все это не сон.

* * *

С тех пор каждый день стали меня выводить на подворье за кнежим домом. Сперва я думал – ну, дурак воевода! Меч мне дал острый, сохранить разрешил. А вот войдет ко мне завтра, я ему этот меч под ребро воткну, с пояса ключ от цепей своих сниму – и поминай как звали! Но назавтра не кнеж пришел за мною. Я по шагам за дверью еще услышал, что не он, и даже не стал пробовать нападать. Толку не будет, а меч заберут...

Так и повелось: приходили за мной стражники, вели к воеводе, он оковы размыкал и велел драться. Понемногу стал учить: как ногу ставить, как рукоять держать, как бить... Я сперва мимо ушей пропускал – мне бы только злость выпустить, что уж там! – а потом прислушался. И стало у меня вроде как получаться что-то. Молодцы, тренировавшиеся на подворье, уже не смеялись, да и Среблян теперь позже меня останавливал. «Нога моя, – говорил, – все лучше день ото дня, уже могу тебя подольше выдержать, зверя дикого». Так говорил, а глаза прищуренные будто насмеялись надо мною. Не мог я вынести этой насмешки, все забывал, кидался на него – а он меня наземь... обидно было больше, чем больно.

Вот так шли дни, за ними недели, уже осень спустилась на остров Салхан, похолодали ночи – а я все не мог его оцарапать. И так, и этак – не удавалось. И каждый раз снова надевали на меня оковы и уводили в мою темницу – теперь уже только на ночь, ибо рубился я с кнежем от зари до зари, даже и дивился, неужто нет у него других дел. Я иногда спрашивал его, что случилось с моими устьевцами. Чуть было не напомнил, что он мне о них обещал, – а потом подумал: зачем? Бесчестному про честное слово не напомнишь, не пристыдишь, а чест-

ному и напоминать не надо. Кнеж сказал, живы они все. Я, правда, только про детей спросил, а что стало со взрослыми – о том и не спрашивал. Как выдавалось время – сидел у окна, все высматривал, думал, может, кто из мелкоты мимо пробежит. Один раз увидел Дарко Ольховича. Тот знал, видать, где меня держат, прокрасться хотел – но один из неродов заметил его, палкой отогнал. Он испуганно убежал и не приходил больше. Ну да что – я ж знал, что не любили меня в селе... Попытался, и то спасибо.

Кормили меня, как прежде, исправно, ночами я спал как убитый. Про побег пока всерьез не думал: прежде прочего следовало от цепей избавиться, а для того надо кнежа в бою одолеть... и чуял я, что скоро смогу. Мышцы мои за прошедшее время отвердели, окрепли – и оковы казались чуть полегче, чем прежде, спать не мешали, я их и не ощущал почти – привык, что ли... тьфу, зараза. Сам ведь клялся, что не привыкну, – а тут к такому... да что там, должно быть, пес тоже привыкает к цепи, посидев на ней достаточно времени. Вот только я не пес. Не от пса меня мамка моя, неродами погубленная, прижила. От волка – то возможно. А волку не привыкнуть к конуре, сколько ни держи.

Потом вдруг настала неделя, когда перестали за мной приходиться. Я испугался – а ну как надоело воеводе со мной баловаться? Да и с чего я вообще взял, что не шутки он со мной шутил? Но тут вспомнилось, как он рассказывал мне о проклятии далгантов, как в сторону смотрел, каким тусклым был его голос и взгляд, и даже серебряные волосы, мнилось, поблекли... нет, не может быть, чтобы врал. Верил я ему почему-то. Ненавидел люто, а верил.

Потом все объяснилось. У стражников я вызнал, что кнежья дочка занемогла, и он от постели ее не отходит. Дочка, вон оно как... небось тоже похищенная из-за моря, от любимых родителей. Жалко мне ее было, а если подумать крепко, то и кнежа жалко – самую малость. Помрет девка, будет ему наука – силком счастливой семьи не добудешь.

В эти дни я больше прежнего тосковал – и ужасно удивился, когда ко мне пришел Хрум. Тот самый нерод, что якшался с убийцей моей матери, тот, кто веревкой меня связал и на вражий корабль поволок. Проведать пришел. Принес гостинец – сладкого пирога и малый горшочек меда. Говорил ласково и смотрел совсем без злости, как и почти все нероды смотрели – на меня и на других детей. Да уж не мыслил ли он прежде меня в дом свой взять, сыном назвать?! Потому так приуныл, когда кнеж меня себе потребовал, игрушку новую пожелал. Смотрел я на этого Хрума и не знал, что ему сказать и что сделать. Вроде и смертный враг, а не было во мне на него злости. Может, от того, что я помнил, как он на тело моей матери смотрел тогда, во дворе моем, – растерянно смотрел, грустно... он бы не убил ее, если в она на его пути встала. Это я знал.

Вот Могута – тот бы убил без разговора, а этот – нет.

Поэтому не стал я Хрума ни мечом колоть, ни цепью душить. Взял гостинец и даже спасибо сказал. Гордо так.

Хрум уже уходить собрался, как вдруг промолвил:

– Ты господину нашему Сребляну по нраву пришелся. Не со всяким он так, как с тобой... Ты не перечь ему. Все одно лучшей доли, чем в его дружине, тебе не видать. А девки дружинников всюду любят, что на доброй земле, что здесь. Да не так уж и плохо тут... ты увидишь потом.

Я ничего не ответил, и он ушел. А мне из всего им сказанного в голове одно засело – «там, на доброй земле...». Добрая земля за морем осталась. А эта земля была зла, люта...

В самый, может быть, раз для меня.

* * *

Дочка кнежья поправилась. Уж молитвами ли его или стараниями знахарей, того я не ведаю. Среблян на радостях затеял пир – да какой! У нас в Устье тоже, случалось, бражни-

чали, в основном на свадьбах – всем селом собирались, вместе на зверя шли, вместе ели потом. Не знаю, водился ли зверь в здешних лесах, да и были ли тут леса – с моря я только скалы видел, – или угощение воеводино было, как и все его добро, награбленным. А только пиршество он готовил и впрямь знатное. Челядь с ног так и сбивалась, носясь по двору, птица кричала, чуя последние свои денечки, овец на бойню целое стадо загнали, а из кухонь пар валил – коромыслом! Бабы из сундуков одежды ладные повынимали, мужчины до блеска начищали кольчуги – каждый спешил покрасоваться, воеводин взор ублажить, дочку его потешить. Кажется, весь город был зван на тот пир; ни одна палата столько народу бы не вместила, потому накрыли столы прямо в подворье кнежего дома, перед моим окошком.

Обо мне в эти дни, ясное дело, все позабыли и кормили даже через раз, но это-то не беда – дома я и не так голодал. Только скучно было, и стоял я целыми днями, с ногами на скамью забравшись, смотрел в окно, как готовится неродовская забава. Когда вечер подоспел, когда стали слуги яства носить и народ со всего Салхан-града к кнежу потянулся – только тут я со скамьи слез, лег на кровать и повернулся к стене лицом. Вот уж больше заботы нет – глядеть, как изверги напиваться-наедаться станут...

Заскрипел засов – я аж подкинулся. Никак самого воеводу ждал – но воеводе, конечно, было недосуг. Прислал стражника, передал, что на пир зовет. Пойти, что ли?.. А чего бы и не пойти? Все равно, откажусь – силком потащат. Почто срамиться?

Снизошел я. Кивнул. Любопытно было: снимут оковы, нет?.. Не сняли. Ну да и ладно, не привыкать. Меч велели оставить; оно и верно, где это видано – с мечом да на кнежий пир?

Шел я, голову высоко подняв, задорно насвистывал. Стражи мои помалкивали, не брались и в спину не толкали. И то ладно. Привели, посадили с краю стола, близ ворот, где самые последние люди из званых разместились. Я сразу увидел, что был за воеводиным столом единственным пленником – никто больше в оковах не сидел. Одни на меня глядели с любопытством, иные, напротив, отворачивались. Ага, понял я, сами, видать, недавно попали на Салхан, а смирились уже – как же я им глаза-то колю... Бабы были тоже. Красивые бабы – ну, оно и понятно, других нероды воровать не станут. Попадались, правда, и седые старухи, хотя и мало, и сидели они близко к кнежему месту – в почете они тут жили. Сам Среблян сидел в головном столе. Рядом с ним была немолодая, но очень красивая женщина – как я потом узнал, кнежинна, по-ихнему – госпожа; глаза у ней были черные и тоскливые, как студеная зимняя ночь, и имя она носила странное – Дурман. Дочка их, худой бледный воробышек, отощавшая и побелевшая еще более после болезни, откликалась на имя Ясенка – и ей оно вовсе не подходило. Отец часто к ней наклонялся, шутил, веселил, смотрел ласково, а она, видать, слаба была еще, улыбалась вымученно, через силу, голову русую на плечо ему клонила. Устала – это да, а что ненавидит в глубине души и ждет случая, чтобы шпильку острую нелюду-отчиму в шею воткнуть, – на то похоже не было. Тоже все забыла... И вдруг страх меня взял, жгучий страх: неужто и я забуду? Сейчас креплюсь, хорохорюсь... А годы минут – как тогда? Но нет... всплыло тут само собою мамкино лицо с застывшим взглядом. Нет, вовек мне его, лица этого, не забыть. Ох, дайте только сбросить оковы!..

Всем хорош был пир у Сребляна – и кормили-поили сладко, и шуты кривлялись потешно, и дед-гуслир ладно бил по струнам да пел песню про дивные земли, про чудный град Сотелсхейм, что стоит в далеком Бертане... А не смотрел я, не слушал. Головной кнежий стол взгляд мой притягивал, сил несть. Рядом с кнежем я видел Могуту и других командиров его кораблей, таких же рослых и тоже в медвежьих шкурах. А еще там девка сидела – вся размалеванная, глаза сажей подведены, щеки нарумянены, волосы по плечам распущены, а рожа блудливая – страх! И так та девка на меня зыркала – я уж не знал, куда и деваться. Будто нет у ней, девки той, на всем свете врага страшнее меня. Вот так на меня глядела Счастлива, когда я невзначай грудь ее увидал. Только эта девка мне сраму не казалась, за что ж она меня так?..

И только подумал про Счастливу – так ее и увидел, словно сама на зов пришла.

Посадили ее в середине стола, между дружинниками. Хороша она была – видать, и тут ее нашлось кому холить-лелеять. Коса уложена бережно, лента белая через лоб, глаза скромно долу опущены... да только знаю я эту скромность. Так вот она взор отводила от устьевских женихов, когда повадились. С ней рядом сидел статный усатый молодец, то и дело меду ей подливал, говорил что-то на ушко, смеялся, а она знай краснела, но видно было, что любо ей это. Ох, бабы... Да не этот ли молодец батьку твоего, Бересту, на рудник провожал?! А ты ему уже всю себя отдать готова... Бабы!.. И так вдруг тошно мне стало, так муторно – даже под палубой неродовской галеры так не было. Отодвинул хлеб, почувал – если в рот возьму, все обратно выйдет.

– А что это ты, Лют, хлеба моего не ешь?

То Среблян спросил. Меня, если только не было в обычае у него всех подряд Лютами нарекать. И как-то тихо крутом стало враз, хотя и велик, и шумен был воеводин пир. А все знали, видать, что я тут. И ждали чего-то. И только я один знать ничего не знал и не ждал поэтому.

– Хлеб, – сказал тем временем Среблян спокойно и вовсе не гневливо, но каждое слово падало в наступившей тиши тяжким камнем, – это самое ценное, что есть у нас здесь, на Салхане. Видал ты поля наши – малы они, а ртов много. У нас, Лют, можно отказаться от мяса и меда, но не от хлеба.

– А я к тебе в гости не просился, – ответил я звонким от злости голосом. И екнуло внутри: побьют ведь – а несть сил было удержаться. – Я тебе пленник, а не гость, и не добрый ты мне хозяин, чтоб я обычаи двора твоего уваживал. А коли много ртов – так меньше невольников хватать надо было, глядишь, и прокормил бы.

Тишь стояла на кнежем дворе в опустившейся темной ночи – хоть ножом ее режь, такая густая. Никто и шептаться не смел, а все смотрели кто на меня, кто на Сребляна – ну, велит теперь выпороть или сразу зарубит, как давно было след?

Но Среблян ничего не сделал. Только слегка прищурился, глядя мне прямо в глаза, даром что далеко сидел, – и сказал:

– Не слышал я от тебя таких речей, когда прежде ты ел мой хлеб.

Тут мне кровь в лицо бросилась. А и верно, рабы на каторге – и те харч отрабатывают... а я что делал? Знай, лежал на неродовских перинах да неродовскую снедь лопал, когда с воеводой не дрался. Почто решил, что задаром?

Все молчали – ждали, что скажу. А мне все одни проклятия в голову лезли. Что ж они со мной так? Убили бы сразу, а нет – на рудник бы сослали, к сельчанам моим. А так мучают только, в клетке держат, сюда привели вот, будто зверя на потеху...

Среблян встал. Знак подал, меня тоже на ноги поставили. Сказал:

– Принесите сюда его меч.

Пока ходили, никто словечка не проронил. Меня ноги едва держали, стыдно мне было, что не нашел чем упрек неродовский отбить. А Среблян знай смотрел на меня и шурился. И дочка его смотрела тоже. И та девка размалеванная – ну и зло смотрела! Как же ей хотелось, чтоб голову мне срубили! А смотрела ли Счастлива – не знаю. Боялся я в ее сторону глядеть, ну и не глядел.

Принесли мой клинок, Прожором названный. Сунули в руки, вытолкнули меня на середину двора, между столами. Кнеж тоже вышел и подошел ко мне. Я увидел, что на бедре у него меч – у него одного во всем дворе. Неужто драться будем?! А как знать... может, теперь и оцарапаю его, удалыца. Среблян вынул из-за пояса ключ от моих цепей, что всегда был при нем, освободил меня. Как упали оковы наземь, посмотрел пристально. Меня как ударило – я стою с мечом в руке, а он – передо мной! И даром что с оружием – не успеет выхватить. Так бей же, Лютом прозванный, бей люто и не думай ни о чем – отмаялся...

Не ударил. Не знаю почему – и не спрашивайте. Стоял молча и ждал.

Кнеж спросил:

– Кого, парень, более других среди сидящих здесь ненавидишь?

Я оглядел пирующих. Сидели они тихо, вполголоса переговариваясь между собой, бороды поглаживали. Я скользнул взглядом по лицу Хрума, тоже бывшего тут, задержался на миг... поглядел дальше.

Указал мечом и сказал, как прежде на неродовском корабле:

– Его.

– Ах ты, щеня дурное! – воскликнул Могута – похоже, слова мои весьма его позабавили. – Или забыл уже, как я тебя на «Быстряке» приложил?

– Уверен, что его? – спросил кнеж. – Думай, парень, другой раз не спрошу.

– Уверен, – сказал я. И впрямь, мало в чем я был так уверен. Особенно когда вспоминал, как встал Могута против Счастливой, в гордые глаза ее посмотрел, обвел слащавым взглядом стройный стан и молвил: «Женой будет...»

– Уверен! – крикнул я снова – и, видать, все, что чувствовал и высказать не умел, вложил в этот крик.

Могута перестал улыбаться и медленно встал. Среблян повернулся к нему, встав ко мне спиной, отцепил свой меч, протянул молча. Могута ухмыльнулся, пошел на нас. Принял у кнежа меч с поклоном.

– Что же, угодно тебе потешиться, господин мой Среблян, – так потешу, – сказал, скалясь в усы. – Только теперь, не взыщи, руки моей даже ты не остановишь.

– Не остановлю, – сказал кнеж спокойно. – Насмерть будете биться.

Загудел тут кнежий пир. А во мне будто костер развели. Насмерть! Стало быть, зарублю Могуту – не убьют, не накажут? То добро!

– Отец, не надо... – подала вдруг голос бледная Ясенка, но Среблян к ней даже головы не повернул. Посмотрел на меня.

– Победишь – вольным будешь, – сказал вполголоса – и пошел прочь, к головному столу. Я проводил его взглядом. Неужто думает, что мне Могуту убить – проще, чем самого воеводу на учении оцарапать? А если так – еще лучше! Смогу.

Факелы горели ярко, светло было на подворье, как днем, – потому и заметил я краем глаза метнувшуюся тень. Было в темно – лежать бы мне мертвым на черной салханской земле. А так – увернулся. Теперь я только понял, что быстр и ловок был Могута, хотя и велик. Тогда, на корабле, дрался он со мной едва в полсилы – дитем неразумным считал, проучить хотел... Мыслил ведь: пообломится парень – в племя наше войдет, мне с ним вместе брагу пить. Все они так думали, потому и глядели незло. А ныне я был им враг.

И бился со мною Могута, как с врагом.

Быстр он был – а я на малость, да быстрее. Ноги, к оковам привыкшие, без цепей летали, будто крыльями обзавелись. Руки, кандалами измученные, без кандалов едва ощущали вес меча. А более всего облегчало меня слово, оброненное Сребляном, – воля! Только и осталось до нее, что грязная Могутина кровь. А что Могута – Могута был тур, медведь, старый зверь вроде тех, на которых я ходил с рогатиной. Ну, если правду сказать, то на такого большого и матерого – не ходил... но бывает же что-то в первый раз, а иначе – никак.

Только с ним надо было иначе, чем с медведем. С людьми не так нужно, как со зверьем, – это в меня Среблян накрепко вбить успел. Бегал я вокруг Могуты, дразня уколами, разъяря, уходя из-под занесенной когтистой лапы. Уморить хотел – и ведь вышло у меня. Я еще дыхание не сбил, а он уже запыхался, стал с шага сбиваться. Раз я его чуть не достал – он ответил на удар ударом с такой силой, что я полетел навзничь. Пир кнежий так и ахнул, люди с лавок повскакивали – зарубит?! Не зарубил – вывернулся я снова из-под самого клинка. И ну дальше кругами плясать. Могута рычал, плевался, сыпал проклятиями – а достать меня не мог. Вот

точно так я не мог достать Сребляна – а теперь сам будто очутился на его месте и знай уходил от ударов...

А потом вдруг Могута покачнулся, и шея его открылась. Уж не знаю как – я и подумать об этом не успел, только увидел полоску кожи, блеснувшую меж бородой и горловиной кольчуги. Ёкнуло во мне, как бывало, когда знал – или сейчас стрелу пускать, или не пускать вовсе! – я и ударил. И будто вернулся на Устье берег, к родной избе, и снова кровь Брода-убийцы плеснула мне на руки, на лицо... Только тогда рогатина застряла. А сейчас я меч выдернул и отступил.

Рухнул Могута. Баба какая-то закричала – жена небось, которую он в дом свой за косы приволок. Знать бы – рада ли за меня Счастлива? А только не стал я на нее смотреть. Рукой, от меча свободной, пот со лба утер, вихры от глаз убрал. И повернулся к воеводе.

Воевода глядел молча. Люди его возбужденно переговаривались, а он молчал.

– Что, кнеж, – спросил я едва не весело, – слово помнишь свое?

И почто спросил – честный помнит, бесчестного не засовестишь...

– Меч оботри, – сказал Среблян.

Веселье мое как рукой сняло. Посмотрел я на лезвие, багровое от вражьей крови, на тело Могутино у моих ног. Не впервые человека убил, не впервые помстился – а рука враз ослабла, будто никогда прежде крови не лила. Встал я на одно колено, вонзил клинок в землю. После выдернул, отряхнул. Подумал, не поклониться ли воеводе – гордо, насмешливо, – но ноги сами уже повернули и несли со двора...

У самых ворот обернулся. Оглядел в последний раз двор. Молчали нероды, ни один не пошел Могутино тело обнять напоследок, только жена подбежала к нему, бухнулась на колени и горько заплакала...

Сплюнул я себе под ноги – и ушел.

3

Эх, Май-Маята, Лютом названный... Выборол себе волю вольную, кровью сполна оплатил – дальше что? Куда теперь-то пойдешь?

Кнежий двор стоял высоко, и отсель было видно, что пристань внизу пуста. Седоголовые волны сердито дрались с каменистым берегом, отступали, кидались снова... Я пытался припомнить, что надумывал сделать, когда сброшу оковы, – и не мог. Стоял, меч опустив, и глядел на море. Далеко ли отсюда до моего Устьява? Долго ли плыть? Гложило чувство, будто забыл сделать что-то, а что – не понять...

Сзади раздалась шаги. Никак воевода передумать успел, назад меня потребует? Я крутанулся волчком, как у самого Сребляна и научился, перехватил меч, выставил – теперь-то меня так просто не взять!

Деревянные гусли со стуком упали наземь, грохотнули о камень, жалобно дзенькнув струнами.

– Ай, не казни, добрый молодец... пощади старика...

Дед-гусяр, что пел на кнежем пиру о дальней земле, стоял передо мной, умоляюще поднимая сухощавые руки. Белая как снег борода реяла на ветру, мешалась со столь же белыми волосами, цеплялась за поднятую клюку. Лицо – что яблочко сушеное, все в морщинах, под мохнатыми бровями глаз почти не видать. Я еще на пиру удивился мимоходом – как это люди до таких лет доживают. Убрал я меч. Дед вздохнул облегченно и руки опустил – неспешно так, величаво. И что-то опять кольнуло меня – странно он как-то на меня глядел...

– Вот притомился от шуму-гаму, вышел передохнуть, – будто извиняясь, сказал дед. И взгляд у него хитрый какой, Горьбога бы по его душу! Не понравился он мне. Да и что мне тут нравилось?

– Прости, дед, не хотел напужать, – проворчал я, и сердясь, и смутясь. Ну не дадут уйти, не дружину вслед пошлют, так деда столетнего!

Он все стоял, на клюку обопрясь, не шел. Я вдруг понял, что гусли его так и валяются на земле. Поди и треснули... Ну, что делать? Наклонился я, поднял их. Отряхнул от грязи, протянул деду. Уж почто я мамку свою не слушал, а старость уважать был приучен.

– Держи, дед...

– Ай, спасибо, дитятко, – хитро жмурясь, сказал гусяр. Протянул руку – и вцепился в гусли ловкими, сильными пальцами. Дернул – и я чуть башкой вперед не полетел, до того сильна была эта рука! Да он щелчком мог бы прибить меня, когда в захотел! Я пустил гусли, отскочил, схватился за меч. Дед не шелохнулся. Борода его так и стелилась по ветру, а глаз видно не было совсем.

– Спасибо, родненький, уважил старого Смеяна, – пропел дед сладко. – А раз уважил, то старый Смеян тебе вот что присоветует: коли в море идти надумаешь, бери ту лодку, что стоит у пристани справа, с самого краешку. Так оно лучше будет.

Я поколебался. Потом поблагодарил неуверенно, не зная, что еще сказать, поправил меч на боку, пошел от ворот...

– Сохрани тебя Радо-матерь, дитятко, – сказал дед мне в спину.

* * *

А все ж таки осень на землю пришла. В темнице моей, на мягкой-то перине, и в горячке драки на подворье это не очень чувствовалось. А теперь шел я пустыми темными улицами Салхан-града (ни души кругом – и впрямь всем миром к кнежу ушли), и ярым ветром с моря меня едва с ног не сшибало. Но я шел уперто, сколько остров меня ни держал, сколько ни гнал

назад в уют да тепло моей конуры. По морю валы ходили, вздымались и падали, будто грудь умирающего, – море лихорадило, кидало в тяжком бреду, волны бессильно кусали камень и с ревом откатывались назад.

На пристани впрямь почти никого не было. Рыбачьи лодки, собранные в дальнем ее конце, сторожил один-единственный парень, немного постарше меня. Сидел на одной из лодок, в плащ кутался, ежился, ругался себе под нос. Оно и верно – другие там у кнежа на пиру веселятся, а ему тут скучать, мерзнуть... Я придержал шаг, раздумывая, что бы сделать, но тут он сам меня заметил – и вскочил.

– Ну, наконец изволили! Я уж думал, совсем про меня забыли! – сказал он запальчиво – и, без разговора сунув мне в руку копьё, торопливо кинулся вверх по пристани, к городу. Я так с открытым ртом на него и смотрел – и тут только до меня дошло, что он меня за сменщика своего принял! Сам тут недавно, видать, не всех еще знает в лицо – а увидел, что я от города иду, меч на боку у меня приметил... Я бросил наземь копьё, которое он мне сунул, и посмотрел наверх, на огни сторожевой башни. Как знать, не смотрят ли на меня, не поднимут ли тревогу? А хотя все равно – попытаться надо.

Лодки лежали вдоль берега, повернутые днищами кверху. Поколебавшись, я пошел к крайней правой, как дед присоветовал. Смотрелась она не хуже прочих, дно просмолено было надежно – я проверил. Стащил ее в воду; волны меня так и лупили по ногам, будто назад гнали, но что мне волны, когда оковы сбросить сумел? Забрался я в лодку; дважды она переворачивалась, выкидывала меня, но потом я ее все-таки одолел. Уперся ногами в дно, наклонился вперед, держа равновесие, раз, другой ударил веслами – и вышел на глубокую воду. После легче пошло: дальше от берега море волнилось меньше, лодку качало, но больше не выворачивало. Я налегал на весла что было мочи, не жалея сил, – и стал, стал наконец отдаляться проклятый остров Салхан! Уменьшилась пристань, помутнела, город расплылся в серую глыбу, а потом и огни на кнежем дворе померкли, погасли в тумане. Жаль, небо затянуло осенней тучей – не видел я звезд, не знал, где нахожусь, куда плыть. Да только все одно мне было куда – лишь бы подальше отсюда, подальше от черного шпиля Салхан-горы, вонзающегося в смурное небо...

Долго я греб. Уже и волны улеглись, и лодка вроде быстрее шла – а все стояла и стояла предо мной Салхан-гора и меньше не становилась. Я бросил весла, глянул на небо. Тучи стали пореже, вон вроде бы звезда-Горевна, что север указывает... Я снова стал грести. Развернул лодку, думал остров обогнуть... греб и греб, а гора где стояла, там и стоит! Уже, кажется, и светать должно бы – но не светало, и звезда-Горевна, только что блестящая впереди, как-то вдруг слева очутилась... и волны набежали снова, стали резче лодку вертеть, с гребли меня сбивать. Плюнул я со злости – да что ж за напасть?! Будто остров этот треклятый пускать меня не желает! Опять лег на весла... Да все без толку. Чем дольше я теперь греб, тем темней становилось небо, тем выше поднимались волны, а звезда-Горевна так и скакала по небосводу, словно в пляс пустилась или вздумала поизмываться надо мною... И только Салхан-гора как стояла посреди мира черной тенью, так и стоит.

Что делать было? Бросить весла, сесть да помирать? Нет уж! Нет, Янь-Горыня, никакого зла я тебе не чинил, за так не возьмешь! Греб и греб, яростно, люто, уже ни на что не надеясь, ничего не желая, только в грести... А потом вдруг перевернулся мир, и очнулся я в холодной воде. Кое-как вынырнул – да чуть не врезался теменем в борт лодки, что скакала по волнам днищем кверху, болтая веслами в черных волнах. Не знаю, как добрался я до берега, не захлебнувшись, не напоровшись на подводный камень, – видать, помогала память о родном Устьевом берегу, где еще и не из таких волн выплывал. Мамка все ругалась, что бегаю на море в шторм, – говорила, потону однажды. Не потонул... Почувяв под ногой твердое, толкнулся – и дал волне вынести себя на каменный берег.

Волна огрела по спине напоследок – и ушла себе в море.

Долго лежал я на мокром камне лицом вниз, откашливаясь, тяжело дыша. Не хотелось вставать, ничего больше не хотелось. Опустил руку к бедру – надо же, а меч-то остался при мне. Мог бы и под воду меня утащить, что ж я его не отцепил, дурень... хотя не утащил – и то ладно. Оперся я скользящей рукой о камень, стал подниматься.

Дед-гусяря стоял надо мной, опираясь на клюку, поджимая локтем свои гусли.

– Ай, Радо-матерь! Сберегла-таки! Ну, слава тебе! – сказал и прижмурился хитро.

Я встал на ноги. Меня шатало, я вымок до нитки, ветрище пробирал меня до костей, я дрожал весь так, что зуб на зуб не попадал. До рассвета было еще невесть сколько – будто, пока я плыл в лодке, время вовсе остановилось.

– Проклятая ваша земля, – сказал я хрипло, глядя на деда ненавидящим взглядом. – Почто меня не пускает?!

– А потому, что ты теперь нерод, дитяtko, – ответил старик – спокойно-спокойно.

Я как стоял, так и обмер.

А ведь впрямь... мне и в голову прежде это не приходило! Я только о том думал, чтоб от людей вырваться, – и совсем позабыл про злую богиню, Горьбогову дочь... Что там говорил Среблян? Раз ступивший на этот остров уже его не покинет, а покинет – три дня и три ночи отпущено ему на доброй земле. Да я и тому был бы рад – пусть умереть, но хоть меж людей, не между нелюдей... только пусти!

Воеет волна за спиной, ветер свищет, тучи гоняя, скачет звезда-Горевна, хохочет, и черная тень Салхан-горы лежит на море – и на мне...

Вот тут меня и прижало. Вот тут думал – впрямь сейчас зареву белугой, по-бабьи. Меч на бедре сделался постыл и тяжек, хуже, чем оковы. Что оковы... их сбросить можно. А эту погань – как сбросишь?!

Спас меня дед Смеян. Видать, что-то по лицу моему понял, ступил вперед и взял меня рукой за плечо – страсть как похоже вышло на то, как делал это Среблян. И рука у него была сильной, как у Сребляна, и не причиняла боли, если не чаяла причинить.

– Пойдем-ка ко мне в избу, дитяtko, – молвил дед негромко. – Обсохнешь, обогреешься... а там поглядим.

Вовремя молвил. Сглотнул я то, что так и не пролилось, – и пошел за дедом побитым псом, что, как дождь зарядит, послушно себе трусит в родимую конуру.

* * *

Изба у деда Смеяна была и не изба вовсе – хоромы. Стояли они наверху, совсем близко к кнежему двору – опять через весь город идти пришлось. Я напрягся, подумал, что он обратно к воеводе меня ведет – ну как знать, вдруг обманет, завлечет в ловушку? – но тут дед свернул на подворье, и я успокоился. Домина у него был таков, что три избы устьевского старосты в нем бы поместились, еще бы и место для нашей с мамкой хатки осталось. И не изба была – загляденье! Стены и балки расписные, по полу – ковры фарийские, подушки мягкие на лавках... в почете, видать, жил дед. Даже странно было, что на пиру не рядом с кнежем сидел, гуслиями гостей его развлекал. А хотя, правду сказать, я тогда не заметил, где он сидел, – не до того мне было.

– Проходи, дитяtko, будь как в доме родном, – приветствовал меня дед Смеян и с дивной для старца его годов прытью принялся растапливать очаг. Жил он, похоже, один, слуг не держал. Как справлялся?.. А впрочем, не моего ума дело.

Очаг растопился, затрещали весело в пламени березовые поленья. Сел я на скамью у очага, нагнулся к огню поближе. Дед принес мне теплой овчины, велел раздеться и вытереться досуха, потом плечи мне укрыл. Вытянул я ноги к юркому огоньку, и так мне вдруг спокойно и сонно стало, и все равно, что дальше будет... Но только не позволил я себе в ленивой неге

задремать, вскинулся. «Что, Лют, не лют ты больше? Скоро к хозяину побежишь руки лизать?» – спросил себя зло – и будто сгинул дурман.

– Околдовать ты меня, что ли, пытался? – спросил я деда. Тот сидел рядом, грея над очагом котелок. При вопросе моем прижмурился, и я понял вдруг, что и прижмур этот мне в нем напоминает Сребляна. Ровно тот ему сын или внук родной...

– Никто тут колдовать не может, кроме Янь-Горыни, – сказал дед. – А ты, малой, я погляжу, зол больно. Неужто совсем добра от людей не видал, уже и не чаешь увидеть?

– Добра? От неродов-то? Нет, не чаю, – сказал я резко. Дед покачивал рукой с котелком, глядел на огонь, а в то же время будто и на меня – и как ему только это удавалось?

– Не ершился в ты так, – сказал негромко Смеян. – Толку-то с того не будет, одна маята. Я выпрямился и сбросил овчину – что-то вдруг в жар меня кинуло. Встал.

– Знаешь что, дед, – сказал я до того ровно и тихо, что самому жутко стало, – ты вот небось сто весен уже прожил и давно успел позабыть, как на острове этом бесовском очутился. Как родных твоих на глазах у тебя убивали, как кидался ты на убивцев проклятых, а они тебя хватили и на судно свое волокли. А я помню. Для тебя это все давно было, а для меня – вчера. Так и не говори мне, чтоб не ершился. Моя маята, не твоя.

Дед ничего не ответил. Даже головы не повернул, ни волосинки не шелохнулось в его бороде. Я уже повернулся уйти, как вдруг он сказал:

– Справедлив твой упрек, мальчик. Ты и сам не ведаешь, до чего справедлив. Сядь, прошу тебя. Прости старика. Не буду больше тебя совестить. Простишь?

Как-то так сказал, что я не смог отказать. Да и стыдно мне стало – старый дед передо мною винулся... Сел я обратно. Овчина мягкая была, и от очага веяло теплом, треск дров заглушал вой ветра снаружи. Будто целый мир – здесь, а что за дверью – того и знать незачем.

– Слышал про проклятие? – помолчав, спросил дед.

– Еще в не слышать, – отозвался я. – Кнеж ваш в красках расписал. Ему в только песни слагать, а ты в их на музыку положил да спел!

– Среблян? – Почудилось мне, будто голос старика изменился. – Среблян сам тебе рассказал?

– А то. Думал, видать, я от жалости расплачусь. Да только не вышло, как я ни старался.

– А сказал он тебе, как проклятие снять?

Тут все глумленье с меня разом сошло. Воззрился я на деда, пораженный. Так проклятие снять можно? Что ж до сих пор не сняли?!

– Когда уходила Янь-Горыня в Салхан, – продолжал дед негромко, все глядя на огонь да покачивая над ним котелком, – напоследок обернулась через плечо и сказала: «А снять мое слово с вас сможет чужак, который на землю мою придет. Придет в путах, а навет мой развеет по доброй своей воле». Так сказала и ушла.

Я только вдохнул полной грудью – а выдох не шел. Придет в путах... так вот еще от чего нероды повадились людей воровать! Потому что сказано им было, что их от проклятия пленник избавит. По доброй воле...

– Погоди-ка! – воскликнул я. – Так что же, воевода решил, что я с вас проклятие сниму? Потому и пощадил меня? Думает, я знаю, как это сделать?

И дико мне сделалось, и смешно. А и знал бы я, как неродам помочь, – не стал бы! Уж по доброй воле точно не стал!

– Дурень ты, – сказал дед и поглядел на меня с усталой усмешкой. – Он и сам знает, как это сделать. И любой знает, кто пробыл на Салхане достаточно долго.

Тут я уж вовсе растерялся. Да и обидно стало, что дурнем называли. Решил, что лучше помалкивать.

А дед уже отвернулся и снова глядел на танцующее пламя.

– Когда Среблян попал сюда, – заговорил негромко и медленно, точно былинку баял, – он был моложе тебя. Двенадцать весен ему едва исполнилось. Тогдашний наш господин, Бушуй Гневич, всю его родню поубивал у него на глазах. Отца с матерью, старших братьев, меньших сестер. Зол был за что-то на его род, за что – того и сам Среблян не ведает. А его с собой взял. В ту ночь у него, у мальчонки тогдашнего, вся голова поседела – такой стала, как ты теперь видишь. Потому и назвали Сребляном. Бушуй его на Салхан привез и четыре года в цепях держал, в той самой клетке, в которой ты сидел последний месяц. Эту клетку для Сребляна и обставили.

Я не знал, что сказать. Попытался представить, что все правда, – и не смог, чересчур это было. Всплыло вдруг в языках пламени мамкино лицо... Того, кто убил ее, я в тот же час жизни решил – и, верно, полегче мне теперь от этого было. А каково пришлось Среблянцу, пацаненку мелкому, каждый божий день душегуба и кровопийцу перед собой видеть, в полной воле его быть? Не мог я себе этого представить, да и не хотел.

Только зачем дед Смеян мне это рассказывает?

– А потом что? – спросил, все ж не удержавшись.

– А потом Бушуй решил, что усмирил мальчика, да с цепи его и спустил. В тот же день Среблян его убил, на куски изрубил. Многие ему за то спасибо сказали – недолюбливал наш люд Бушуя. Так и стал Среблян господином.

Вон оно как... Порешил изверга, за родню помстился – и сам извергом стал не хуже убитого ворога. Жалость к Среблянцу, шевельнувшаяся было на миг, тут же притухла во мне, ровно искра, присыпанная золой. Судьба-горемычевна и Горьбог-злодей всякому отплачивают подделом.

– Почему он может ходить в море, а я нет? – спросил я, вдруг впервые об этом подумав. Дед глянул на меня искоса, будто совсем другого вопроса ждал. А ну его, в загадки с ним играть... не до того мне нынче. Но ответил:

– Янь-Горыня знает, что не смирился ты с наветом ее, потому тебя и не пускает. Кто покорился ей, тому она даст до дальнего берега доплыть, до доброй земли. И ступить на нее тоже даст. Некоторые и ступают.

Некоторые... почто ж не все?

– Скажи мне, дед, неужто каждый смиряется? Неужто никто не бьется, не сохраняет чести, не выбирает гибели? Неужто?

Я спрашивал и страшился ответа. Потому как скажет – «Так и есть», и будет это значить, что и мне общей доли не миновать... а я того не хотел.

Но дед ответил такое, что от души у меня разом отлегло.

– Не каждый, вестимо. Многие борются... не умеют судьбу свою принимать. Кого-то и силой усмирять приходится, по-злему. Кормятся их душами море да Янь-Горыня... – Дед примолк, будто задумавшись. После добавил: – Многие еще гибнут от тоски. В основном женщины. Дети тоже, но они если умирают, то на кораблях, до того еще, как ступают на Салхан. Если уж доплыли, то живут...

Я вспомнил, что, когда мы причалили, на берегу среди полоненных я не видел ни одного младенца. И плача детского не слышал. То странно было: ведь, если рассудить, младенчиков как раз нероды должны были перво-наперво хватать. Те вырастут и вовсе знать не будут, где родились... И хватали ведь небось. Только труден путь на Салхан-остров, немногие переживают дорогу. Что уж дети...

Я обхватил плечи руками, зябко мне что-то стало, так же, как прежде кинуло в жар. Сказал:

– То хорошо, что не все смиряются. Утешил ты меня... спасибо.

Дед посмотрел на меня искоса. Хотел будто сказать что-то – и не сказал. Меня вдруг любопытство разобрало.

– А тебе, дед Смеян, самому сколько годков было, когда неродам попался? Молчит. Али и вправду забыл? Ну, за его-то лета – немудрено...

– Нисколько, – сказал дед. – Родился я здесь.

Я рот так и открыл. А он снял котелок с очага ловкой рукой, подул – и мне протянул.

– На-ка выпей. Снаружи ты вроде согрелся, а изнутри теперь тоже не повредит.

Я взял. Обжег ладони о горячие стенки, а едва то заметил – так деда глазами поедом ел. Это сколько ж лет ему?! Сколько веков? И разве живут столько?

– Так что, – спросил, не в силах унять любопытство, – ты видел Янь-Горыню?!

– Видел.

– И какая она?

– Такая, что раз увидишь – другой не захочется. Пей, говорю.

Я выпил залпом. Нутро мне так и ожгло, но хороший это был огонь, ладный. Поставил я котелок на скамью. Дед Смеян наклонился, согнув старую свою спину, и ворошил угли в очаге. Я потянулся, забрал у него кочергу.

– Дай я...

Пока угли разгребал, не знаю, глядел он на меня или нет. Потом он спросил:

– Что делать теперь будешь, Лют?

Прикипело ко мне это имечко... а что, не хуже родного. Вернее даже. Хотелось бы, чтоб было вернее. Лютовать всяко лучше, чем маяться.

Только вопрос старика совсем не по нраву мне пришелся. Не хотел я о том думать, а пришлось. Ответил я нехотя:

– Не знаю... что присоветуешь?

– Пока у меня поживи. Видишь, один я остался на старость... Оставайся покамест. А там видно будет.

Что тут сказать? Все равно мне идти было некуда. Дед поднялся со скамьи, тяжело опершись на мое плечо.

– Горниц много, выбирай любую. А только не эту, в этой я сам сплю, стариковских привычек не изменишь.

Я оглянулся на него. И тут вспомнил, что он мне сказал у кнежего двора.

– Слушай, дед... а почему ты мне тогда велел крайнюю лодку справа взять?

– А она самая старая, – отозвался дед спокойно. – Ее загубить меньше всего было жаль. Ложись-ка, парень, спать. Долог был у тебя день.

* * *

Ох и странен, ох и дивен был дед Смеян... С первого взгляда не по нраву он мне пришелся, а чем дальше, тем меньше я в нем понимал. То, что он един среди всех неродов был свободным человеком, то, что своими глазами видел злую богиню и своими ушами слышал ее проклятие, то, сколько боли чужой перевидал на своем долгом веку... все это мне чудно было, и робел я перед ним – и не я один. Понял теперь, отчего люди его и уваживали, и чурались: он ведь один из тех, кто беду на них всех накликал, и он же – последняя память о том, что прежде иначе жилось на Салхане. Этот дед еще застал чудный град Салрадум, Серебряный Город, и видел Салхан-гору белой. Я спросил его как-то, отчего он песен про это не складывает – красота ведь была небось! А он ответил:

– Я, дитяtko, не умею складывать песен. Чужое пою, а чтобы свое – так Радо-матерь не одарила голосом.

Мне почудилось тогда, что лукавит, но расспрашивать не стал. Боялся я деда. Вроде он ласково со мною держался и приветливо, а было что-то в этой ласке, от чего душу мне выво-

рачивало. И хитер был дед... не по-доброму хитер. Это я потом понял, когда дошло до меня, зачем он мне свой кров предложил.

Я думал – работать на него стану. А не давал он мне работы. Вставал до зари, а порою мне чудилось, что и вовсе не ложился. Сам дрова колот, воду таскал, еду на очаге грел. И откуда силы в нем были, и как все успевал? Я помогал ему, как мог, да только видел, что не нужен я ему, он и сам без меня справится. И стало мне худо. Совесть меня ела – за так стариковский кров и харч принимать. И знал он это, изувер, когда к себе меня звал. Знал, что затоскую скоро и за ворота глядеть начну. Я же из дому почти и не выходил – сил несть было смотреть на Салхан-град, на лица неродов, на их печальных детей... а ну как еще кнежа встречу на улице или Счастливу? Нет...

Так неделя, почитай, прошла. Как-то раз я взялся дрова рубить – глядь, а топора нет. Пошел к деду просить. А он глаза прижмурил: не надо тебе топора, дитяtko, вон, глянь, солнышко на дворе, чай последнее в этот год, иди посиди, погрейся... Тогда я не выдержал, накричал на деда – почто, говорю, в дом к себе взял, а работать не даешь? Дед руками развел – уж прости, родненький, а так привык, все сам, стариковских привычек не изменишь...

Ну, что делать? Был бы на Салхан-острове лес – убежал бы в лес, глядишь, как-нибудь прокормился бы. А только не было почти леса, так, редкие кустики да хилые деревца, понатыканные промеж скал. Березу на растопку – и ту нероды торговали на материке. В работники к кому-нибудь наняться? Так все равно враги, ни к одному нету мочи идти на поклон... да и неизвестно еще, возьмут ли. Я готов уже был сам проситься на рудники, да только дед, услышав про то, засмеялся. Он редко смеялся, даром что имя такое носил, и от того его смех звучал особенно обидно. Не возьмут тебя, сказал, и не просись. Ты дитя еще, а детей на Салхане ценят не за то, что киркой махать горазды – пусть бы даже и горазды.

Тут уж я озлился всерьез. Дитя, говоришь? Могута тоже так говорил, да где теперь Могута? Поди его спроси! И лишь только я Могуту помянул – сверкнули дедовы глаза так, будто он все время только того и ждал, что я первый об этом заговорю.

– А не пойти ли тебе к господину нашему Сребляну, дитяtko? – спросил нараспев, хитро жмурясь. – Он-то видал, как ты свалил Могуту. Попросись – авось возьмет, найдет для тебя какое ни есть дело.

Что-о? Мне – просить? ЕГО?! В ноги кланяться, шапку в пыли полоскать – снизойди, мол, светлый кнеж... Еще чего! Крепко помню, как в оковах у него сидел, – и долго помнить буду, уж не сомневайся!

Так я на деда кричал, ногами топал, а дед стоял, на клюку оперевшись, и жмурился.

Накричавшись, со злости я ушел со двора, дверью хлопнул. Зарок себе дал – не вернусь к Смеяну. Бегом почти пересек улицу, ни на кого не глядя, вышел за ворота, побрел по тропе... а кругом скалы и скалы. Залезть на них, что ли, да кинуться вниз? А только страх брал. Вот тот самый, который не дал мне под палубой на неродовском корабле жилы себе перегрызть. Жизнь – маята, да кто сказал, что по Ту Сторону лучшая доля ждет? Проверить всегда успеется...

Побродил я так, побродил. Дождь прошел проливной – мне и укрыться было негде. Сидел на камне злой, как бес, мокнул и неродов проклинал. Да что толку? Мое проклятие всяко не сильнее слова Янь-Горыни...

Горд будь, да не глуп.

Белокаменные кнежи палаты стояли среди скал громадой, как и прежде, – никуда не делись, нисколечко не изменились. Думал ли я, что войду еще раз в эти ворота – да не в путях, не в оковах, сам войду? Ох, лихо мне, лихо... Шел я, глядя себе под ноги, глаз поднять не смел. Знал – узнавали меня, шептались, пальцами вслед показывали. Знаю, что говорили: пришел... позлился, да и пришел, как всяк приходит. Худо мне было тогда, так худо, что и вспомнить тошно. И кнежа нигде не видать, будто назло. Вдруг под ногами мелькнуло знакомое личико, блеснули знакомые глазенки – малая Пастрюковна! Посмотрела удивленно, а потом как заорет

– и кинулась на меня, в ногу вцепилась, ну тискать да реветь от счастья! Признала родное лицо... Я растерялся, да что делать было? На руки ее взял. Тут ко мне женщина подлетела – я ее уже видел. Глянула лютой волчицей, словно я забрать дитя у нее пытался. Я молча отдал, хотя Пастрюковна и ревела, хватала меня за шею. Я тихо спросил женщину, где кнеж. Она вдруг тоже будто растерялась, злость из нее вся ушла. Отвела взгляд, сказала где. Я поблагодарил. Она отошла молча.

Пошел я на заднее подворье, где воевода меня мечу обучал.

Дрался нынче Среблян; я понимал теперь, почему даже оцарапать его ни разу не смог. Когда не был он в походе и не сидел у постели больной дочери, то в военной науке время проводил. Вот и ныне – рубился разом с пятью молодцами, и не сказать, что очень уж легко это ему давалось. Волосы он ремешком кожаным подвязал, а так и катил по лицу градом пот, на перевязи не задерживаясь, – загоняли молодцы Сребляна! Я остановился, стал смотреть на него, не решаясь прервать. Наконец он увидел меня, сам встал, руку поднял. Воины оглянулись. Все смолкли разом.

– Ну? – сказал воевода. Дух перевести еще не успел, а потому голос его прозвучал не так спокойно, как обычно. – Чего тебе?

Я подошел ближе. Встал против него. Поколебался, потом понял – чем раньше кончу, тем лучше. Сказал:

– Дай мне дело, кнеж.

– Вон как, – отозвался Среблян. – Сперва хлеб мой ел за так, потом за так отказывался, а теперь дело ему дай.

– Дай, – повторил я настойчиво. – А нет – так убей сразу. Не томи только, довольно уже.

Среблян молчал, оперевшись на меч, как дед Смеян на клюку. Волосы его белые по плечам стелились, дергал их лихой осенний ветер. И так похожи были они с дедом, что не знай я всего, решил бы – точно родичи... Видать, подумалось мне вдруг, со временем все тут друг на друга походить начинают.

– В дружину пойдешь, – сказал воевода. Не спросил – приказал.

Меня так и шатнуло.

– Не пойду, – ответил непослушными губами. – Ты прости... но не стану рубиться за тебя. Охотиться буду, камни таскать, хоть на рудник сошли... а в дружину не пойду.

– Другой работы для тебя у меня нет, – сказал кнеж равнодушно и, подняв меч, кивнул своим молодцам – за дело, мол. У меня перед глазами так и поплыло. В дружину идти... спину ему, нелюдю, прикрывать, вражин его сечь, как своих. Смогу ли? А хотя... Вспомнилось, что сказывал Смеян о Бушуе Гневиче, звере лютом. Если таковы враги Сребляна – как знать, может, и смогу?

А к тому же – дружина неродов ходит в море. Набегами промышляет на добрую землю... Пойду с ними – неровен час отпустит меня лютый Салхан-остров от своих берегов. А доберусь до материка – что ж... На доброй земле и смерть добрее будет.

– По рукам, кнеж, – сказал я. – Бери меня в дружину, коли не передумал.

Он обронил на меня взгляд – будто плетью хлестнул.

– Невзора найди. Пусть кольчугу тебе даст и покажет, где станешь жить, – сказал и отвернулся от меня.

С тем я и ушел.

* * *

И дивное ж это дело – житье-бытье... Кто в еще летом сказал мне, что стану носить ту самую кольчугу, меж звеньями которой рогатиной метил, хлеб преломлять с теми, кто сельчан моих рубил, меня неволил... Смех, да и только! Или горе – то как посмотреть. Одно меня

держало: знал я, что не по своей воле среди них оказался прежде, не по своей воле сидел с ними и теперь. И хоть не держали меня нынче силой, а я сам себя силовал. Знал – так надо. Покамест, а там поглядим...

Кнеж, когда я копьё его принял, оттаял ко мне. Снова стал поглядывать ласково, как прежде. Не то чтобы я ласки его хотел, но только лучше него воина не было на Салхане – и я мог только радоваться такому учителю. Снова он стал звать меня на подворье да гонять от зари до зари. Все взад вернулось – только на ночь шел я не в темницу, а в белые палаты, где стояли в ряд скамьи для кнежьих воинов. Дружинники на меня сперва косо глядели, потом первые позвали хлеб преломить. Будь среди них хоть одно знакомое лицо, хоть один из тех, кого я помнил по набегу на Устье, – отвернулся бы. А так... чего волчиться? Всех их, как и меня, когда-то в полон угнали, каждый кнежа Гневича сперва врагом почитал, а потом пришел к нему на поклон. Мне ли перед ними нос задирать?

Так и пошло...

Люд среди неродов самый что ни на есть разный собрался. И бертанцы тут были, и галлады, и мартеляне, и асторги даже, и такие, как я, кмелты с Даланайского берега. Кто давно был, тот улыбался чаще, шутки шутил, за воеводой радо на битву шел. Прочие больше отмалчивались, реже глаза поднимали. Все они попали на Салхан детьми, кто постарше был тогда, кто помельче, а равно – много воды с тех пор утекло, и чем отличались когда-то друг от друга, из-за чего народы их между собой вражду водили – того и не помнили. Не принято было среди неродов прежнюю жизнь поминать. Что, дескать, ворошить старое, когда ему давно конец – так судили; а мне все казалось, кривят душой.

Среблян часто пиры затевал для дружины. Дед Смеян на них песни баял. Я не глядел на него, стыдно мне было, сам не знаю отчего, да и он не особо на меня посматривал. Я на тех пирах сперва с самого краю скамьи садился, ото всех поодаль. А ничего, подвигались молча, давали место, не гнали, с разговорами не лезли... Потом как-то пошло, что стали разговаривать. Слово за слово – перестал я дичиться. Не то чтобы радо всякого привечал, но словом теперь мог перемолвиться и не чувствовал лютой тоски. Сам не знаю, как вышло, что перестал с краю скамью садиться и к середине пересел.

А потом кнеж меня однажды позвал к себе на пиру, посадил рядом. Я растерялся, а пошел – что было отказываться? Долго он меня расспрашивал про то, откуда я, чем в Устье прежде занимался. Никогда его прежде это не заботило, я уж не знал, что и думать – зачем это ему? А еще смущался я от того, что дочка его на пирах всегда с ним рядом сидела. Кнежинна Дурман – через раз, а дочка всегда, словно он пустить ее от себя боялся. Я на ту девку не глядел – не больно-то ладна была, да и остерегался, еще кнеж что не то подумает, по шее надает... Мне не страшно было, просто не хотелось, чтоб люди на смех лишний раз поднимали. Пусть бы и не люди даже, а нероды... а все равно не хотелось.

А еще рядом со Сребляном вечно была та девка размалеванная, которую я на самом первом пиру увидел. И раньше она мне смерти желала – а как вошел я в кнежью дружину, казалось, своими руками замыслила придушить. Только где там, ручонки тоненькие... и некрасивые вовсе, лопаты, а не руки, – мужику бы такие больше подошли. Ох и не нравилась она мне, я все старался от нее подальше держаться – почто мне дикая девка? А раз не вышло-таки – когда кнеж меня рядом с собой посадил. И с тех пор часто стал сажать, так что меня и эту девку – Ивкой ее звали – всего только несколько голов разделяло. Раз я сидел, а она мимо меня шла – и вдруг как ущипнет сзади за шею! Чуть клочок кожи с волосами вместе не выдрала, я думал, взвою. Ну, это уж было слишком – чего ей надобно от меня?! Как пир кончился, она к кнежу стала ластиться, а он что-то сказал ей, и она отошла обиженно – видать, услал на сегодня. Мне все любопытно было – как на то кнежинна Дурман смотрит? Хотя иные нероды и брали по две, а то и по три жены, у Сребляна была только Дурман – и это чучело патлатое. И что в ней нашел?

Приметил я, что Ивка одна осталась. Проводила Сребляна злым взглядом, вышла в сени. Тут я подвелся – и за ней. Спрошу, чем не люб, а то сколько можно?! Догнал я ее в пустом проходе, сграбастал за руку, крутанул. Девка вскрикнула... и что-то мне тут показалось не так. Я прежде голоса ее толком никогда не слышал – она говорила тихо и все только с кнежем, да и сидел я далече. А тут как заорет, да прямо рядом со мной! И странным таким голосом, низким слишком, как для девки, – и то не взвизгнула, как обычно бабы визжат, а крикнула в полную силу...

– Слушай, ты, – сказал я, тяжело дыша. – Ты почто меня изводишь? Чем я тебя обидел? Прости, коли так, не со зла я...

Она глазищами, углем подведенными, так и сверкнула – палец не суй, откусит!

– А не со зла, – рявкнула, – так пропади пропадом, и руки прочь от моего Сребляна!

Да так рявкнула... я отпрянул, знак-оберег сотворил. И понял уже, а поверить не мог.

Не девка это была. Парень!

Теперь, вблизи, я видел и в толк взять не мог, как сразу не раскусил. Мне такое в голову не приходило, вот и не раскусил. Чтобы парень в бабском платье ходил, рожу себе малевал... к кнежу ластился... фу, срамота! И это что же он, решил, что мне кнежья милость нужна? Ревновать ко мне удумал? Я не знал, то ли смеяться, то ли ругаться, то ли кнежа найти и по морде ему надавать за то, что сотворил с парнем...

– Пусти, – сказал пацан плаксиво и дернул руку. Я пустил. Теперь видел ясно: он ровесником мне был, даром что шуплый и ниже меня на полторы головы. Драться с ним я не мог – пришибил бы одним ударом, не рассчитав.

– Не надо мне твоего Сребляна, – сказал я с трудом. – Ближко не надо.

И все, ничего больше не смог сказать. Повернулся и пошел вон. Лицо у меня так и горело. Я все в толк взять не мог, с чего Ивка так обо мне думал. И давно ведь думал, еще с той поры, как я у Сребляна под замком сидел. Тошно мне было от этих мыслей, так тошно, что я их гнал от себя. Наружу бы поскорее, чистого воздуха глотнуть, дурь из головы выветрить...

Вышел я на двор – и столкнулся с кнежем.

– Гляди, куда ступаешь, – сказал тот недовольно. Кажись, не в духе был. Из-за меня? Нет, с чего бы из-за меня... В другое время я в язык прикусил, но тут чересчур уж был потрясен и сердит. Шагнул к кнежу близко, ухватил его за рукав – он так и вскинул на меня расширившиеся глаза, похоже, себя не помня от удивления на мою смелость. А я глянул ему в лицо и сказал сквозь зубы:

– Дед Смеян меня дурнем назвал, а и то правда. Я уже было подумал – суров был к тебе, не так ты плох, как мне наперво показалось. А теперь не знаю, то ли просить тебя погнать меня из дружины твоей, пока я сам тебя не убил, то ли что...

– Что такое? – Среблян был не на шутку удивлен и встревожен даже. Я его таким прежде никогда не видел. Народу вокруг нас не было, и я процедил:

– Я думал, мужчине служить иду. А как мужчиной назвать того, кто мальчишек, ровно девок, в постель к себе кладет?

Как он разом с лица сошел! Будто я тайну его узнал. Хотя разве же это тайна? Я один во всем Салхан-граде, почитай, до сегодня не знал, что Ивка – пацан! И кнеж думал, видать, что знаю. И огорчился теперь на мою нежданную злость.

Я еще держал его за рукав, и он не вырвался, но вдруг взял меня другой рукой за плечо. Взял и так сжал, что у меня в глазах враз помутнело. Думал, сломает он мне кости, вот-вот захрустят. Смятения больше не было в Сребляновых глазах, только тихая злость.

– А знаешь ли ты, – сказал он чуть слышно, – что это такое, когда берешь женщину – и понимаешь, что все впустую? Что, как ни тщишь, не сможешь посеять потомство в лоне ее? И что ни делай, мысль эта из головы никак нейдет? Знаешь?

Я только хрипло выдохнул, боясь, что не выдержу боли и закричу. Он меня пустил, отступил на шаг. Я схватился за плечо, думал, выдернул мне руку воевода.

– Не знаешь, – проговорил он медленно. – А не знаешь – так молчи.

И не то чтобы оправдали его передо мною эти слова... а только больше я про то никогда с ним не заговаривал. Да и Ивку не трогал, и сам пацан-девка, кажется, с того дня меньше на меня коситься стал.

* * *

Как пошел первый снег, Счастливу Берестовну выдали замуж.

Уж и не знаю, отчего ждали так долго. С самого лета она женихалась – то с одним, то с другим, а все больше с тем усатым молодцем, что на ухо ей шутки шутил на большом кнежем пиру. Молодца этого Тяготой звали. Силен был, что твой тур, и хоть с другими угрюм, а при ней расцветал и все бахвалился удачью. Счастлива глаза опускала да рделась... люб он был ей, видать. Ну, так люди сказывали – славилась красотой своей устьева Берестовна на весь Салхан-град, вот и болтали о ней. Сам я ее не видал – на дружинных пирах делать ей было нечего, пока не мужняя жена. Одно меня радовало: сдержал слово Среблян, не дал девку за косу уволочь первому, кто позарится. Позволил выбрать самой. Летом, как только я в дружину вступил, ушел Тягота на корабле за море, с фарийцами торговать. Да, бывало и такое – не все нероды ходили с набегами. Я узнал теперь, что за пленниками они отправлялись только раз в год, в начале лета. В прочее время возили за море салханское серебро, а из-за моря – дрова, одежду, скот и зерно. Одним наворованным сыт не будешь, а на частые набеги, видать, людей не хватало – в цене были люди на Салхан-острове, в дружину ли шли, на рудники ли в колодках...

Хорошо себе выбрала Счастлива Берестовна – кнежего воина, до поживы охочего. Вернулся он из-за моря, привез ей нитку бус гранатовых. Чего еще бабе надо? Пошла за него.

Свадьбы в Салхане были не то чтоб редкостью. Иные, как я уже сказывал, и по две, и по три жены себе брали. Только морока это была: на доброй земле ведь как – чьей первенец, та и старшая, остальные – в младших ходят. А тут, когда не родят бабы, – как рассудить? По возрасту разве, а если погодки? Погодок старались не брать, конечно, а все одно морока. Одна с другой сцепится, каждая орет на мужа: чем, мол, она тебе краше меня, чем лучше, чем дороже? Потому брали одну жену, а с прочими девками бегали на сеновал. А что? Нет детишек-безотцовщин, нету и срама.

Да только не для того хранил Береста наш Счастливу-красавицу, чтоб по сеновалам бока мяла.

Тягота высоко стоял в кнежьей дружине, и свадьбу гуляли, как прежде, всем миром. Нарядили Счастливу в зеленые невестины одежды, зерном посыпали, руки с суженым перевязали колосьями, песни пели за здоровье и долгие лета. Смотрел я на то и дивился: у нас в Устье точно так же делали, только стояло за этим пожелание молодым ладного и скорого потомства. А тут не было его и быть не могло, и все о том знали – а все одно просили у Радоматери благословить союз, будто надеялись на что...

Только стояла над свадебным пиром, над развеселым гулом черная Салхан-гора, кидала лютую тень на город. Зря надеялись.

Я в тот день крепко напился браги. Славную брагу варил Тягота, у фарийцев научился – с ног на раз валила. Песни я пел, плясал – один раз даже саму кнежевну, Среблянову дочку Ясенку, за пояс обнял, закружил. Смеялась Ясенка, глаза ее так и горели, ручонками тонкими сжимала мои отвердевшие от учения плечи – а не видел я ее. Никого не видел, кроме Счастливы Берестовны, розовощекой, глаза долу уж не опускавшей, глядевшей кругом гордо, победно – вот, мол, любуйтесь, какая! Смотрел... и хоть бы глаза мои не видали ни ее, ни Тяготу, ни все неродовское застолье.

Ох, ненавистен мне в тот вечер стал кнежий двор – сил несть! Хуже, чем в тот давний день, когда сидел я на этом самом дворе на этой самой лавке в цепях. Когда стали молодых в горницу провожать – не выдержал, порешил: хватит с меня. Ушел со двора, стал над городом, на море глянул, как волны бушуют. Зимой море кругом Салхан-острова делалось вовсе злым, непроходимым, затягивало еще надежнее путы, которыми землю эту несчастную и так с ног до горла обмотало... А что – зима? Зима пройдет. Выглянет солнце, прогонит Горьбога, Радоматерь снова ладони свои протянет – и сюда тоже... Выйдут корабли неродовские опять в море. И, как знать, может, я тоже на них пойду.

Я услышал шаги и увидел кнежа. Он тоже вышел со двора, стоял один, смотрел, казалось, туда же, куда и я. Меня он не заметил. Я хотел уйти, но потом вдруг плюнул, сдернул шапку, подошел к нему. Пьян я был, и тоска вусмерть заедала, как вспоминал про Счастливу, – так бы и не знаю, когда бы в другое время решился к Среблянцу подойти. Обернулся на меня Среблян – говори, мол. Я сказал:

– Как придет лето – возьмешь меня за море? В поход возьмешь?

Он посмотрел на меня прищурясь, как делал иногда. И вот сколько уже знал я его, жил бок о бок – а все никак не мог в толк взять, что такой взгляд означает.

Я стоял, качаясь от хмеля, шапку зло в кулаках мял. Кнеж долго на меня смотрел. Потом ответил коротко:

– Поглядим.

И ушел обратно на двор, словно не хотел больше рядом со мной стоять.

Как-то добрался я до дружинной палаты – сам не помню как. Рухнул и уснул. Недолго проспал, кидало меня во сне, дурное снилось. Как вскинулся, еще темень ночная стояла, а вокруг кнежьи воины дружно похрапывали. Хмель у меня весь из головы вышел, как не бывало. Понял – не уснуть больше. Встал тихо, вышел на двор. Ночь холодная была, но ясная, поскрипывал первый снежок под ногами, звезда-Горевна ярко светила в небе, указывая на север. Что ж ты так не светила, когда я прочь от острова греб... бездушная ты, вероломная, точно все бабы...

Во дворе тихо и пусто было, только перекликался изредка дозор на стене, да сторожевые огни дрожали на башнях, ветер вязал их узлами. Прошелся я по двору. Думал уже назад идти – что бродить без толку? – ступил к двери...

Как вдруг увидел – стоит кто-то. У самой двери стоит молчаливой тенью. Кольнуло меня что-то внутри, как бывало уже прежде. Шагнул я, руку протянул...

– Май... Маяшко...

И схватила мою руку, кинулась, к груди прижалась. Я почувствовал – вся дрожит, будто лист осиновый на ветру. Так обомлел, что поднял другую руку, обнял, только бы перестала дрожать.

– Не гони меня, – прошептала Счастлива и зарылась лицом мне в сорочку.

Что ж я, изверг какой? Не прогнал, конечно. Только куда же ее? Не в дружинную ведь палату. Повел коридором, кое-как отыскал пустую горницу – светлицу для рукоделья, как понял, когда запалил лучину; кнежинна с дочкой тут в ясный день с прялками сидели, а сейчас стояли прялки ровно в уголке, скамьи пустовали, никого не было.

Посадил я на скамью Счастливу Берестовну – а она так и рухнула, словно ноги у ней враз подкосились. Она куталась в плащ, сшитый из соболей, – тоже богатая мужнина добыча, свадебный подарок. Только отчего не с ним сейчас, не благодарит по-своему, по-бабьи, за гостинцы? Почему пришла, и дрожит, и слова не выдавит?

Надо было сказать ей что, а только голова у меня враз опустела. Сел с ней рядом и молчал, ждал, может, сама чего скажет.

Вздохнула Счастлива прерывисто – и голову мне на плечо склонила.

Мог ли мечтать о том Май-Маята, заглядываясь в Устье издали на Старостину избу? А только нету Мая. Сгинул.

– Почто не с мужем? – спросил наконец. Знал, что обижу вопросом, а спросил. Вот злость какая во мне сидела: хотел ей больно сделать хоть раз, отплатить за все ночи, что простоял, в окошко ее запертое глядя, надеясь хоть разок лицо ее в нем увидеть.

Вздрыгнула она, как я и ждал. Но не отстранилась от меня, только теснее прижалась. Прошептала:

– Не муж он мне.

Озлился я тут. Вероломная баба!

– А если не муж, зачем за него пошла? – спросил резко. Другая на ее месте уже в рев бы давно пустилась. Но не такова была дочка нашего Бересты. Не зря отец ее на медведя ходил – эта девка и медведя одним взглядом могла в страх и бегство обернуть. Медведя могла – а Тяготу, видать, не осилила.

– Дура была, – сказал, гордо голову вскинув. – Ну, дура! Это ты от меня услышать хотел?

А и хотел... да только теперь, как услышал, не знал, куда глаза девать. А она больше взгляда не отводила. Смотрела на меня невыносимыми своими очами, и так блестели они в свете лучины, что никакого солнца не надо.

– Прельстилась речами его, подарками... силой его тоже, – сказала Берестовна и горько усмехнулась, будто бы над собой. – Думала, что ж? Батка не смог защитит, позволил забрать в полон – так хоть мужа сильного получу, не батке чета – при таком кто меня обидит? А что сам он обидит, про то не думала... Он до того, как за море ушел, не трогал меня. Хотел, но я сказала: попробуй только – со скалы кинусь. А хочешь меня – так в жены бери. Обещался взять... а пока его не было, я тут к другим приглядывалась, все думала – Тягота Тяготой, а может, кто и получше найдется... Он вернулся, все спрашивал, на кого я глядела. Я и сказала. Думала, взревнует – его же любовь окрепнет. – Она смолкла, отвернулась от меня. Я молча ждал, что дальше скажет, хотя вроде уже и сам догадался. – Пока в девках была, он не касался меня, как обещал. Не мне... он господину Сребляну обещал. Сказал мне про то сегодня, как нас в горницу проводили. А теперь, говорит, моя ты вся, с потрохами, как если бы собственной рукой тебя из дома баткиного за косу уволок. Случись, говорит, мне быть в вашем Устье – не стала бы ты мне ляды точить да грозить со скалы кинуться... короток был бы разговор. А теперь, говорит, раз вертела мною и за спиной у меня шашни крутила – знай, чья жена.

И замолчала, оборвался голос. Захотелось мне обнять ее, по волосам распущенным погладить – а только не знал, примет ли, не оттолкнет ли. Лицо у нее совсем спокойное было, и глаза сухие. Если в редела – обнял бы, а так...

– Что, – спросил я с трудом – губы не слушались, – груб он с тобой был?

Вместо ответа она повернулась ко мне – и распахнула соболиный свой плащ.

На ней была только ночная сорочка, вся разорванная – и в темных пятнах. Я сперва подумал, это ее первая замужняя кровь, и залился краской – а потом присмотрелся, заметил, что не там она, где положено. Не на подоле – на вороте, на груди... Пригляделся... а у нее вся грудь в ранках. Мелкие ранки в сизых ободках синяков. У меня язык так к небу и присох.

– Ножом меня колол, – спокойно сказала Счастлива. – Говорит: детей тебе все одно не рожать, нечего тебя беречь... Май, почему он так сказал? Почему мне детей от него не рожать? Чем я ему плоха?

Я сперва поверить не мог, что она не знает. Потом подумал – а и верно, откуда ей знать? Умыкнули и умыкнули девку, за что, про что – ее ли дело? А что не так просто тут все – не женского ума забота...

И надо же, что именно мне выпало ей правду сказать. Эх, мало было печали – еще и эта...

Что делать – рассказал, как сумел: и про то, что от Сребляна узнал, и про то, как с острова уплыть пытался, да не смог.

Молча выслушала меня Счастлива. Только глаза ее невыносимые, жгучие, все шире раскрывались, пока я говорил. Под конец она меня за руку взяла – я того и не заметил, пока не закончил. Долго мы так сидели молча, в полутьме, за руки держась. Тогда она спросила тихонько:

– Что ж мы теперь... навсегда тут?

Я смолчал. Не знал, что ответить, а врать не хотел – да и не люблю я врать.

Сколько так сидели, не знаю. Потом она вдруг улыбнулась краешком губ, лукаво так.

– А что, Май, – спросила тихо, – я же тебе всегда по нраву была?

И зачем спросила?!

Страхнул я ее руку. Вероломная баба... Пришла заступничества просить – то еще понятно. Хотя и не кнеж я, чтоб ее от законного мужа защищать. А попросила бы – сделал бы все, что мог. Просто так сделал бы – устьевские ведь мы оба, бок о бок росли, вдвоем оказались во вражьем плену. Что бы я не сделал для нее? Но для бабы разницы нет. Она Тяготе своему тело готова была отдать за подарки – так и мне то же самое теперь предлагала за защиту. Я откажу – к кому другому пойдет, ей не все ли равно!

Думал я все это и сказать хотел, так слова в груди и клокотали, – а рта раскрыть не мог. Потому как знал, раскрою – кричать начну. Услышат, сбегутся... увидят ее, схватят и к мужу отведут. Потому что пока суд да дело, а жена при муже быть должна.

– Иди к деду Смеяну, – сказал я и сам чуть не обмерз от холода, каким от слов моих повеяло. Счастлива это тоже почувяла – с лица сошла, перестала улыбаться. – Он тебя спрячет, приютит, пока я с кнежем о тебе поговорю. И носа за ворота не суй. Не то попадешься мужу – тогда уже не спасу.

Она встала, и глаза у нее были такие громадные – всей Салхан-горе проклятой в них ухнуть и пропасть без следа! Потянула руку:

– Маюшко...

– Нет больше Мая, – сказал я. – Лютом меня зовут. Или не слыхала? Все, иди, пока не светает.

И набросил ей плащ на плечи, чтоб сорочку прикрыла. Она вздрогнула – может, я раны ее ненароком задел? Все сжалось во мне, но стиснул я зубы, велел сердцу умолкнуть. Довел ее до ворот Смеянова дома. Она обернулась напоследок, сказать что-то хотела, но я уже прочь шагал. Несть сил мне было смотреть на Счастливую Берестовну, как прежде, так и теперь, и никакое время того не излечит.

* * *

Не помню, как обратно шел. Голову мне снова мороком затянуло, как полгода назад, когда увидел мамку мою порубленную на пороге нашей избы. Вот так и теперь – стояла перед взглядом Счастлива с исколотым белым телом, с темными пятнами на свадебной сорочке. Как представил себе Тяготу с ножом в кулаке – земля из-под ног поплыла. Думал сперва – прямо сейчас кинусь, найду его, глотку голыми руками порву.

Не успел.

Как дошел до двора, светало уже. У входа в палаты стоял Хрум. Я его видал временами в эти полгода, но словом ни разу не перемолвился с тех пор, как он в тюрьме моей меня проведывал.

– А, вот ты, – сказал он и окинул меня взглядом. – Пойдем, господин наш Среблян тебя требует к себе.

Что делать – пошел.

Воевода то ли уже встал, то ли совсем не ложился. Сидел он в большой палате, где суд судил и советы держал. И народу в той палате было невидимо, даром что рань такая стояла.

Все шептались, а меня завидели – перестали. Толкнул меня Хрум в спину – ну, ровно снова я оказался на неродовском корабле! Только теперь уж время прошло, кое-что оно переменяло. Развернулся я к нему круто, схватился за бок – а меча-то и нет! Не взял, когда Счастливу повел к деду Смеяну... а зря...

– Все-то ты прыток и скор на расправу, – раздался надо мною голос Сребляна – ровный, негромкий, как и всегда. – Сможешь потерпеть еще чуток, или велеть связать тебя, пока дожидаешься?

Славно же он мне напомнил, кто я таков да где нахожусь! А и впрямь ведь – неровен час стал забывать... Спасибо, кнеж, вовремя одернул. Повернулся я к нему, поклон глубокий отвесил: гляди, мол, покоряюсь. Выпрямился и в глаза ему посмотрел. Кнеж улыбнулся краем рта. Все стояли молча, как будто ждали чего-то. Хрум отошел и оставил меня одного посреди горницы, под недобрыми взглядами. За что судить станут?

Прошло еще какое-то время, не знаю, долгое ли – я не считал. Потом дверь распахнулась, и кнежи воины втащили Счастливу.

Я глянул на нее и понял сразу: дралась она с ними! Как я в первые дни – насмерть дралась! А только силенок у ней было еще меньше, чем тогда у меня. Плащ соболиный потеряла где-то, сорочка ее окровавленная мешком на ней болталась. Втащили ее, к кнежим ногам на пол бросили. Я рванулся – а и меня схватили, вывернули руки за спину.

– Ты, – спросил кнеж спокойно, – у Тяготы нынче ночью жену увел?

И тут заметил я Тяготу! Стоял он прежде в тени за воеводиным креслом, молча стоял, ус кусал. Теперь вышел. Глянул на Счастливу один раз. Потом на меня. И такую тьму, такой морок я в глазах его увидел – холодом меня обдало. Некстати вспомнились Смеяновы слова: видал Янь-Горыню однажды, больше не хочется... Вот и мне не хотелось долго в глаза Тяготы глядеть, словно из них на меня в упор смотрела сама Янь-Горыня. Смеян... эх, Смеян, почто девку не сберег? А хотя с чего я взял, что сбережет, не выдаст? Кто она ему? А кто ему я?

– Не уводил я. – Голос мой твердым был, потому что я знал, что не вру, а что еще для веры в себя надо? – Она сама ушла от него. И пришла ко мне. Я гнать не стал.

– Еще бы ты стал гнать такую девку, – сказал Тягота хрипло. На скулах его желваки гуляли. Я посмотрел на него спокойно, даром что жутко мне было в глаза его заглядывать.

– Не гнал, потому что землячка она мне. Нас с ней вместе ты, кнеж, полонил минувшим летом. Да и не любо мне, когда мужик слабую бабу ножом штыряет, жена она ему или не жена.

Среблян голову к Тяготе повернул – и я понял, что в первый раз он шелохнулся с тех пор, как я вошел.

– Почему жена от тебя ушла? – спросил. – Знаешь?

Тот растерялся, словно не ждал такого вопроса. Гляди-ка, с жалобой побежал – постель супружья остыть еще не успела, а теперь теряется, ровно дитя малое. И знал ведь, на кого жаловаться... Меня словно огнем ожгло – да уж не поминала ли ему Счастлива прежде мое имя? И как поминала, раз он теперь первым делом на меня подумал?..

– Ты его не спрашивай, кнеж! – крикнул я, хотя меня и дернули те, кто держал за руки. – Ты на нее погляди! Чай глаза не слепые, сам поймешь.

Кнеж не смотрел на Счастливу. Он на меня смотрел. А Берестовна стояла перед ним на коленях молча, спину распрямив, не ныла, будто ранами своими гордилась, даром что подол так задрался – белы ноги каждому видать. Бесстыжая девка...

– Коли так, – сказал коротко кнеж, – назначаю вам суд через меч. А мечи пусть вам судьба сама даст, какие выпадут.

Пустили меня наконец. Я плечами потрянул, шагнул вперед. Тягота тоже вышел. Выдвинули нам корзину, в которой клинками вниз стояло десятка два мечей. Я не глядя вынул один – мне все равно было, с каким драться. Тягота выбирал дольше, по рукояти старался определить, какой подойдет. Потом тоже вытянул. Меч у него вышел немного длинней моего и потяжелее,

но и сам Тягота был тяжелей меня на пару пудов. Все расступились, несколько воинов встали по сторонам, определяя границы поединка. Ступи кто из нас за такую границу – враз голову снесут. Счастлива повернулась к нам – простоволосая, глаза сверкают, лицо горит... не стал я на нее смотреть. К чему мне, чтоб сердце чаще стучало? Ни к чему.

Среблян подал знак. Сошлись.

Хорош был Тягота – я потом узнал, кнеж его тоже сам учил, как меня. А то ли Тягота плохо учился, то ли Среблян ему меньше сил уделял, а неповоротлив был Счастливин супруг, медлителен, будто боров. Куда ему до Могуты! А Могуту я еще летом уложил, ничего толком тогда не умеючи...

Словом, поверил я в скорую и легкую победу – и поплатился за то.

Сперва он один раз меня достал, несильно – едва полоснул клинком по плечу. Кожу порол, и только; я едва поморщился и тут же об этой ране забыл. А зря. Скоро почувствовал, как немеет рука. Еще немного – и перекинул меч в левую, правая так и обвисла. Гул прошелся по горнице, только я его едва услышал. Сосредоточился, стал думать, куда ударить да как ступить, – и это едва не стубило меня. Не думать надо было, себя слушать: когда внутри екнет, когда кольнет, – а я не стал... я, если правду сказать, испугался тогда. Видел теперь, что Тягота старше меня на десяток лет, и весь этот десяток лет он в набеге ходил и с врагами рубился. А у меня это был только второй взаправдашний поединок. И когда бился я в первый раз, не горели за вражьей спиной жгучие очи Счастливы Берестовны... А к тому же тогда я думал – дерусь за волю. Не холодила мне тогда еще сердца Салхан-гора.

Когда Тягота дотянулся до меня во второй раз, я думал – все, конец мне. Глубоко он рубанул по боку, так что кровь струей ударила. Все тут же вскочили, я увидел краем глаза – кнеж рукой подлокотник кресла стиснул. А может, померещилось... Тут я понял, что совсем близко подошел к границе поединка, еще шаг – и заступлю. Изловчился, вернулся на середину палаты. Тягота, похоже, такого от меня не ждал, напал с новой силой...

И тут подумалось мне про мамку. Не знаю, чего вдруг – а подумалось. Может, оттого, что смерть слишком близко ко мне подошла, и смог я соприкоснуться с Той Стороной, а мамка почуяла это и пришла выглянуть на сыночка, дотронуться... И мнилось мне, я слышу голос ее: «Так-то, Маюшко... Так тебе за то, что и года не прошло – а покорился. Хлеб с вражиной лютым надломил, надежду потерял... смирился. А говорил: нет, не смирюсь. Почто обманывал, милый?»

Нет! Не обманывал, мать. И крепко слово мое: умру, но на доброй земле!

А дальше не помню, что было.

Пелена с глаз моих спала, только когда я услышал, как все кричат. Подумал – ай, славно провожают лютого Люта на Ту Сторону, не ожидал... А после понял – живой. Живой я и в крови весь, с ног до головы. И как-то не мило, не радостно мне в тот раз было чувствовать ее на себе. Сам не знаю отчего.

У моих ног лежал мертвый Тягота. Клинок мой, в крови от острия до рукояти, глядел в пол кнежьей судной палаты.

Разжал я руку и бросил меч.

Кнеж встал и шагнул вперед. Ко мне подбежали, но я чужие руки оттолкнул. Будет меня хватать! Смотрел, как Среблян поднимает с пола Счастливу – глаза, Горьбога бы по мою душу, глаза ее невыносимые, почто ж сердце мне и теперь рвете?! – как берет ее за руку и ведет ко мне. Подвел, остановился. Толкнул, и она так и села у моих ног, рядом с Тяготиным телом.

– Держи, – сказал кнеж. – Твоя теперь.

На том и кончился суд.

* * *

Дальше тоже плохо помню. Сперва я сам шел, потом меня понесли. Положили в горницу, где только одна кровать стояла, – я решил, что опять меня в темницу заперли, но потом увидел, что нет решетки частой на окне, и успокоился. Счастлива со мною рядом была. Я все понять не мог, зачем, для чего. Отплатить хотела? Так не для того я вступался за нее...

– Май, Маюшко, – шептала, глядя меня белыми ладонями по лицу, по волосам, – ты прости, прости меня, глупую, навек тебя любить стану, только не умирай.

Кого звала? Нет больше Мая. Зарубил его Тягота, а сам от Лютова меча полег. Май отмаялся, но за Лютом лютая смерть пока еще не пришла...

Счастлива целовала меня. Помню, слезы ее мне на грудь так и лились, и я злился: чего теперь-то ревешь, дура? Как нероды за волосы волокли, как муж-изувер ножом колол, как перед всем народом полуголой стояла на кнежем суде – ревела...

– А помнишь, – сказал я Счастливце, – помнишь, прошлой осенью, когда ты у нас в Устье женихалась, тебе на порог чернобурую лису положили? Со шкуркой непопорченной, со стрелой в глазу. Помнишь?

Сказал – и тут же пожалел. И кто за язык тянул?! Никогда не бахвалился, а тут вот...

Она так и ахнула:

– Ты?!

Эх, что было теперь отпираться, назад глупую похвальбу брать. Буркнул только:

– Ну...

Она почему-то опять заплакала, смеясь сквозь плач, лбом к моему лбу прижалась:

– А я думала, это Ладко Соснович, его благодарила...

Так-то.

Ну, что сказывать – не помер я в тот раз. Долго оклемывался, снег уж глубоко лежал, когда я бредить перестал и в себя пришел. И тогда только понял, как услужил мне кнеж. Отдал мне Счастливцу Берестовну – совсем отдал. Недолго она во вдовах ходила – на Салхан-острове бабе вдовствовать не дадут. Да и велика ли невидаль – овдоветь: зима здесь суровая, люди умирают, как везде... Тягота умер, я – нет. Как выпал глубокий снег, стала моей Счастлива Берестовна. Я до самого утра в ту ночь думал – мне теперь впору снова имя сменить, самому Счастливым прозваться. Так и заснул, радуясь, как дурак. Утром только одумался, понял...

И без того был я накрепко привязан к проклятому Салхан-острову. Теперь же узы эти вдвое крепче стали. Вот возьмет меня кнеж летом в поход, доберусь до доброй земли, ступлю на нее... а смогу ли остаться, смерть принять, прежде такую желанную? Нет, не смогу. Потому как умру я – что со Счастливой станет? К кому в дом войдет, как с ней там обойдутся? Как она будет здесь без меня...

Ну, кнеж, благодарствую. Услужил, хитрец проклятый. Успокоишься наконец: теперь не сбегу. Оковы – что оковы! Их сбросить можно.

А это – как сбросишь?

4

Бывает, время тянется что добрая тетива – хоть на кулак мотай. А бывает, обернуться не успеешь – куда подевались недели, месяцы? Как стала Счастлива моей, о времени я забыл. Раны мои скоро затянулись, уже и не вспоминалось о них. В ту зиму мне шестнадцать исполнилось. Было бы дело дома, в Устье, – раздели в меня мужики наши донага, зарыли бы в землю по пояс, палками отколошматили. Потом пустили бы в лес на три дня, бродить-голодать. Потом бы поставили у старостиного порога и заставили в стоять целый день, каждому мимо прошедшему в ноги кланяться. А после назвали бы взрослым мужчиной, пригласили бы на пир, позволили бы сесть рядом с собой. Ну, я так думаю, было бы, – случалось такое со всеми в Устье, едва миновал им шестнадцатый год. А со мной, может, и по-другому бы поступили – не любили ведь там меня...

Ну да что судить? Иначе вышло.

Никем не замеченной прошла моя шестнадцатая весна, потому как уже я был в Салхан-граде кнежим дружинником и жену молодую успел в дом привести. Отдали нам домишко малый, прибившийся к скале, – и как ни был он мал, а в Устье я и мечтать о таком не мог. Только теперь от богатства этого мало было мне радости. Счастлива, как за меня пошла, изменилась – не узнать: тихой стала, кроткой, на чужих мужиков глядеть перестала, говорила со мной всегда учтиво и ласково. Я дивился на нее: как подменили девку! И как мог старался, чтобы не жалела она о выборе своем, не горевала о Тяготе. Если и горевала – не замечал я того.

Как время прошло – не знаю. А только зима кончилась, за нею весна пролетела, как ласточка – не ухватить. Утихомирилось море кругом Салхан-острова, присмирело, ровно как моя Счастлива. Пришел день, и спустили нероды на воду крутобокие свои корабли. Пора было в поход выступать.

Выступили, да без меня. Не взял меня кнеж.

Я за весну у него трижды просился. Он смотрел на меня взглядом долгим, подбородок свой гладил задумчиво. И всякий раз отвечал: «Поглядим». Бился я к тому времени уже почти совсем хорошо – хотя, правду сказать, оцарапать его так и не смог. А видел, что он доволен мной – и не похоже, будто скорбел о войне своем славном, о Тяготе. И то верно, что это за славный воин, если я его одолел? Одобрял, хвалил меня Среблян...

А только в море не взял.

Пять недель они ходили. И я все пять недель ходил – волком лютым по берегу, только что на луну не выл. Счастлива сперва меня отвлечь пыталась, но я на нее зыркнул пару раз – перестала, умолкла. И как же тянуло меня за море, слов несть... Одним глазком хоть выглянуть на добрую землю, на родной край, где люди живые, честные, по твердой земле ходят, где не висит в небе вечная тень Салхан-горы... Думал – умом тронусь. Еще и от безделья томился страшно; кнеж меня к тому времени в свою личную охрану определил – а как уехал он, я без работы опять остался. В соседях у нас женщина одна была, овдовела недавно, нового мужа не выбрала еще, так я чего только ей не переделал! Только что избу не перестроил от основания. Счастлива сердилась, лучше б, говорила, в собственном доме что подлатал, вон и крыша течет... Мамка еще меня за то бранила, что вечно занимался незнамо чем, а на родной дом нельзя было заставить работать.

Да только, руку на сердце положи, – разве ж родной тут был дом?

Через пять недель показались на горизонте черные неродовские корабли. И словно заново я стоял на Устьевом холме и видел их вдаль – призрак страшной тени Салхана, что к чужому берегу руку тянет... Год назад ринулся я бегом к берегу – а теперь повернулся и прочь пошел. Люд неродовский уже на пристань бежал, кричали все, суетились, толклись. А я не мог

смотреть, как станут невольников новых на берег выгружать. Крепка моя память была... ох и крепка.

Пришел домой – вижу, Счастлива торопится куда-то от ворот. Надо же, думаю, какая, мужа пошла встречать... А она завидела меня и крикнула: «Май!» Она когда Маем меня звала, когда Лютом – я уж махнул на нее рукой, пусть зовет как хочет. Подошел ближе. Смотрю – она платком плечи обернула, будто на праздник какой.

– Ты куда, – спрашиваю, – собралась?

– Да как же! – сказала моя Счастлива, а очи ее так и горят огнем, ох, знаю я этот огонь! – Как же, ты разве не слышал? Господин наш Среблян домой идет! И с поживой богатой. Пойдем на берег, Май, поглядим, может, ребеночка себе возьмем...

И тут... не помню, что было. Будто захлестнуло меня снова черной волной. А очнулся – глядь, Счастлива сидит на земле и ревет в три ручья. И уж как редко она редела – а тут пошла, не унять... На скуле у нее синячище расплывался, багровел уже.

Я сжимал кулак, и он ходуном у меня ходил, словно дергал кто меня за локоть.

– Май... ох, Май, не надо, не бей меня...

– Пожива? – прохрипел я, разом придя в себя и разозлившись, кажется, еще больше – хотя уж и не ведал, что можно сильнее злиться. – Поживу, говоришь, кнеж тебе привез? А помнишь ты, что сама год назад была такой вот поживой? Как смотрела на неродов, что на берегу сгрудились, за зад тебя хватали, – помнишь? Ребеночка ей!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.